

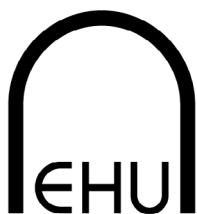
СБОРНИК



DESIGN
VERONICA KALDAEVA

СБОРНИК

КОРОТКОЙ ПРОЗЫ УЧАСТНИКОВ МАСТЕРСКОЙ
КРЕАТИВНОГО ПИСЬМА ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ ЕГУ
ВИКТОРА МАРТИНОВИЧА И КСЕНИИ ШТАЛЕНКОВОЙ



Европейский гуманитарный
университет

2019



ДВЕНАДЦАТЬ

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Максим Ермоленко

Обрывок

Анна Гаврилькова

Кротовые норы

Бутон

Анна Савицкая

Друг Лены

Игорь Коротков

Денежные пирожки

Илайджа Лямперт

Секвенциальная логика одного дня

Катерина Максимова

Птичка

Жемчужина

Лиана Кохановская

На досуге не забудь сыграть на проданном пианино

Любовь Мыцких

Это вопрос времени

Мария Стёпкина

Пятьдесят шесть

Наталья Жуковская

Большой человек (История)

Яніна Равяка

Праца разбураць

IKatsyarina (Екатерина Еркович)

Неотправленное



12

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хочешь понять, кто ты есть, — сядь и напиши рассказ. Придумай историю, которая бы трогала тебя до глубины души. А потом изложи ее простыми словами. Постарайся использовать при этом как можно меньше прилагательных. А потом покажи эту историю другу и выслушай, что он скажет о ней. А еще лучше, отложи ее на полгода и перечитай сам.

Раньше я думал, что творчество — одна из форм исповеди. Что, столкнувшись с восторгом акта творения, мы достаем из себя все свои постыдные грехи, уже совершенные и еще только задуманные, и отливаем их в прозу. Ибо есть в этом что-то глубоко Прометеево: вылепить из глины героев и ждать, что какая-нибудь Афина-читатель наделит их дыханием жизни. В любом случае, творение — занятие для титанов. В любом случае, титан живет в каждом из нас. В любом случае, занимаясь творением, мы создаем конкуренцию Зевсу и пытаемся подергать его за бороду.

Чтобы вызов состоялся, нужно быть таким же порочным, как Зевс.

Сейчас же мне кажется, что творение никак не связано с создающим текст субъектом, его детскими травмами и его постыдными тайнами. Оно обнажает в нас титана, только и всего. Титаны же по своей природе не могут быть одинаковыми. Творчество, — когда оно настоящее, — пробуждение той сущности, которая заложена в нас, но погребена под тоннами сизифовой рутины.

Со временем я научился безошибочно определять тех, в ком титан уже проснулся. Это что-то во взгляде. В том, как человек запинается перед тем, как выжать из себя любое слово. Загляни такому в глаза, увидишь в них все круги Дантова ада.

То, что сборник получится, я понял еще во время первого знакомства с участниками нашей «группы двенадцати».

В 1888 году Ван Гог устремился в Арль, движимый мечтой создать братство художников-единомышленников, «Мастерскую Юга». В этой идее изначально было горькое зерно: утопия всегда оборачивается антиутопией, братство, любое, даже религиозное — взаимными обидами и упреками. Причина, по которой Ван Гог закончил создание «Мастерской Юга» в психиатрической клинике Сен-Поль, с отсеченной после ссоры с Гогеном мочкой уха, в том, что титаны — не стадные животные.

Сезанн не мог не разорвать с импрессионистами (как и сами импрессионисты со временем — разбиться на группы и раствориться в собственной индивидуальности); Франц Марк просто обязан был дистанцироваться от «Голубого всадника»; Народное художественное училище не могло не привести Шагала к разочарованию в друзьях и эмиграции.

История Христа, проживи он чуть больше 33-х лет, непременно закончилась бы ссорой с Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Более того, он, я думаю, расстроился бы, прочитав любое из четырех Евангелий, ведь история жизни только тогда правдива, когда пишет ее проживший эту жизнь. Платон и Ксенофонт представляют нам Сократа настолько по-разному (вспомним «диспут о врагах», которым, по Ксенофону, Сократ завещал творить зло, по Платону — прощать и не отвечать обидой), что мы видим тут двух совершенно разных Сократов. Наши «двенадцать» предстают в этом сборнике совершенно самостоятельными. По большому счету, ни в интонации текстов, ни в сюжете, ни в языке, ни в «художественных приемах» мы не видим никаких сходств. Где-то встречаешь короткие зарисовки, фотографии мимолетностей, где-то — тщательно сделанную сюжетную прозу. Авторы этого сборника объединяют 10 летних дней, проведенных вместе в Вильнюсе, разговоры во время этой летней школы, тексты, которые были рекомендованы при знакомстве друг другу (которые вовсе не обязательно были прочтены). И вместе с тем, «12» можно отнести к «школе», ибо всякий раз, когда титаны собираются вместе, чтобы создавать новое — что-то в мире меняется.

У меня есть любимые рассказы в этой антологии, но кто я такой, чтобы тут их называть? Пойдя за чьей-то рекомендацией, рискуешь пропустить самое главное — что-то, что было создано лично для меня.

Ну и последнее. Про совпадения. Ибо двенадцать творцов в одной аудитории может выглядеть как совпадение или случайность.

Я пишу этот текст в непрерывно сигналившем автобусе, который мчит меня из запыленного ада портового города Читтагонг в Бангладеш к затерянным песчаным пустошам Бенгальского залива.

Под ногами мечутся тараканы. С моих ступней их сдувает набегающий поток из сквозных дыр в бортах: этот автобус имеет больше шрамов, чем иной садху.

Только что я встретил человека по имени Мохбаб, банковского ин-

спектора из Богры. Подойдя ко мне, он широко улыбнулся и показал на телефоне фотографию, где он стоит, широко улыбаясь, в кафе на последнем этаже 8-ми этажной халабуды в центре Кхулны — города, располагающегося в двух сутках пути отсюда.

За ним — задумчивый закат над изгибом далекой реки и трущобы, имеющие сверху вид весьма живописный. Рядом с Мохбабом на фото — я, еще свеженький, не успевший сгореть дочерна. И я вспоминаю, как пил кофе в этом месте, перед поездкой на катере а мангровые болота Сундарбана. Как ко мне подошел улыбающийся местный житель и попросил о совместном селфи. После этого были джунгли, тигры, неделя переездов. Вокруг — страна, в которой только по официальным данным 142 млн. жителей, а ведь детей до 10 лет тут не регистрируют из-за очень высокой смертности. И вот, в этом лабиринте судеб, среди миллиарда маршрутов и миллионов двуногих, Мохбаб оказался в одном автобусе со мной. В сотнях км от предыдущей фотографии.

Я долго ожидал, что же он мне скажет, Мохбаб. Что-то ведь нас свело вместе. А он продолжал говорить про поезда, достопримечательности, Аллаха и гостеприимство. И вот внезапно округлил глаза и спросил, когда я возвращаюсь в столицу. Я назвал дату: 10 ноября, 12-го самолет обратно в Минск, 13-го заканчивается виза.

«Вы не сможете вернуться 12-го, сэр. — Покачал он головой. — В одном из городов на маршруте в этот день — карнавал начала зимы, во время которого блокируются все шоссе, движение из- и в- останавливается на несколько суток. Вы не полетите домой 12-го. Вы даже до столицы доберетесь только 15-го. Попробуйте поменять билеты на другой день».

Я хочу надеяться, что во время нашей короткой беседы с Мохбабом я успел сказать ему что-то настолько же важное для его судьбы. Ведь совпадений не бывает, люди оказываются в одной аудитории, за одной беседой о литературе, не случайно. Иногда сами не до конца осознавая, куда их заведет тропа, к которой вышли вместе.

Если этот сборник попал к вам в руки, значит в нем есть что-то настолько же важное, как моя «дежавю-встреча» с Мохбабом. Читайте внимательно и сумеете это найти.

Виктор Мартинович

МАКСИМ ЕРМОЛЕНКО



ОБРЫВОК



Максим Ермоленко

20 лет, Гомель

emaximas.by@gmail.com

+375447958615 (telegram), +37064340942

Обрывок

Мой папа прокурор, а мама бухгалтерша. Они развелись, когда я заканчивал пятый класс. На развод подал папа. Он же потом убивался. Они не сказали мне, почему так вышло. Как-то в студенческую пору я написал им e-mail, каждому из них, с простым вопросом: «Почему вы развелись?» Папа сказал, что это тема не для Интернета, мол, обсудим, когда приедешь. Я приехал, и в суете мирских вопросов про деньги, учебу и карьерные перспективы тема родительский отношений проплыла мимо нашей памяти. Мама же написала, что «были молодые и очень разные, но неважно, что у нас случилось. Мы тебя оба очень любим». Так вот и остался родительский сюжет в моей памяти каким-то мутным больным пятном. Жаль, что пятном не окончательным.

Я родом из Речицы. Когда заканчивал школу, папа настаивал, чтобы я целился на Германию. Лучшие университеты, лучшая жизнь, лучший паспорт — он паковал в меня всё, чего сам лишился из-за моего рождения (когда я случился, одному было 21, второй — 20). Я выучил немецкий и уехал в Пассау. Тихий баварский городок с тремя реками и пивзаводом возле общаги. Идешь на учебу, вдыхаешь дрожжи — и как-то сразу настрой рабочий. Приходишь на экзамен — а там студент приносит ящик пива и все, включая преподавателя, пьют, с платоновской задумчивостью обсуждая студенческие проекты. В этой жизни своя прелесть. Разве что первые отношения похоронил накануне отъезда. Тяжко, когда далеко. Но ничего. Зато дрожжи пахнут без перерыва, каким бы я ни был. Дрожжи любят меня.

Домой я приезжал раз в два-три месяца. Дорога занимает сутки с момента выхода из общаги и до порога маминой квартиры. У мамы уже новый муж, а у меня — сестра. Лиза. Она смотрит на меня и говорит: «Е-е-е-и». Это у нее такое «Андрей». Каждый приезд с улыбкой наблюдаю, как мое имя обретает в ее устах всё большую внятность. Для меня это самый простой способ отследить, как Лизка развивается. И да, дожил-таки я до момента, когда она, подбегая ко мне на пороге, показывает на меня

пальцем и визжит: «Андре-е-ей!», а потом приплясывает передо мной, пока я обедаю. Мама спрашивает, как у меня дела и что с работой после учебы. Папа спрашивает то же самое, только не понимает, зачем я приехал, когда мог сделать новый проект, найти стажировку, отыметь пол-общаги и жениться на немке. И вроде бы как он в шутку говорит, но всё равно жалею, что нельзя вставить два пальца в уши. И так из года в год. Наконец, я закончил учебу. Переехал в Кёльн. Нашел работу. Родители успокоились.

И потекла жизнь, год за годом. Я карабкаюсь по кёльнской телевышке к узким управленческим верхам. Домой приезжаю всё реже, родители скучают и зовут назад, даже папа. Раз в два-три месяца превращается в раз в год-полтора. Я подолгу не пишу им весточек, пока они не напомнят о себе. Я бичую себя, но продолжаю предпочитать работу всему остальному. Отрываюсь по-холостяцки, но не слишком серьезно. Самое серьезное оборвалось однажды еще до Германии, а до этого у папы с мамой. И стоит ли вообще после этого рассчитывать на что-то серьезное?

Жизнь со всеми ее событиями отныне смазалась во что-то одно. Да, намешано много, но кардинально гамма не отличалась. Кажется, ко мне подкрадывался кризис среднего возраста, хотя для него и рановато. Однажды я подумал было послать всё к чертям и пуститься в какой-нибудь авантурный трип, чтоб кровь разогнать, чтоб хотя бы гормоны обмануть, что всё, мол, в порядке, живем, чувствуем, как вдруг обстоятельства сами нашли меня. И вовсе не в виде приключений с мафией, шлюхами и блэкджеком. Нет. Просто папа прокурор, а мама бухгалтерша. Папа посадил маму в тюрьму.

2

В Кёльне готовятся к вечернему выпуску новостей. Суета, проверка всех и всего. Я проматываю на компьютере текст, который пойдет на экран для ведущего. Мой телефон отключен, кабинет закрыт. Только огромное стеклянное окно открывает вид на студию. Мой взгляд сосредоточен на тексте, окно приглушает все звуки. Боковое зрение привыкло кдвигающимся фигуркам и уже не обращает на них внимания. В какой-то момент мозг докладывает мне, что фигурки двигаются не так, как обычно. Что-то в системе изменилось. Я поднимаю взгляд. На студии мне машет руками Кармен, моя помощница. Она стоит прямо в центре студии и, заметив, что я на нее смотрю, машет еще интенсивнее. Я хмурюсь, встаю, отпираю дверь. Кармен исчезает и меньше чем через десять секунд уже стоит передо мной, слегка запыхавшись. В руках у нее телефон.

— Dich , — говорит она.

В ее тоне чеканность, акцент на том, что этот звонок должен значить для меня больше, чем весь вечерний новостной репертуар. Я доверяю Кармен и

беру трубку. Она тут же отходит и отворачивается. Что за черт?

— Hallo, — говорю я.

— Андрей, — отвечает мне женский голос на русском.

Во мне что-то екает. Голос знакомый, но я не могу вспомнить, где и когда его слышал.

— Андрей, это ты? Андрей?

— Да, да, — говорю я и делаю паузу.

Сейчас самое время спросить, кто это, но так неловко. Я дышу в трубку.

— Это Лена, — голос намеренно громкий, словно на том конце провода есть сомнения, долетят ли слова до меня. — Лена, слышишь? Помнишь меня?

Сердце кольнуло. Лена — моя первая любовь. Та самая, с которой я расстался, когда уезжал в Германию. Мысли в голове вспыхивают, я даже не успеваю сформулировать все нахлынувшие вопросы и мычу в трубку.

— Да... Да, Лена, привет. Конечно, помню. Как ты...

— Андрей, — перебивает она, — послушай меня. Приезжай в Речицу. Это очень важно. Ты нужен здесь. Я понимаю, что это не мое дело, но, пожалуйста, поверь мне, ты...

— Лена, что-то случилось?

— Твою маму арестовали, — у меня отпадает челюсть. — Алло! Алло, Андрей, ты слышишь меня? — Я молчу. — Меня просила позвонить твоя бабушка. Я еле нашла тебя через твоих друзей-немцев, но это так, не суть... Андрей, бабушка с дедушкой ждут тебя! Приезжай скорее. Андрей! Андрей, да что ж такое...

Я уже не слушаю. Трубка громкая, импульсивная, я не могу сосредоточиться и отвожу ее от уха. Кармен подходит ко мне. У нее такие блестящие серые глаза. Почему я раньше этого не замечал? Протягиваю ей надрывающуюся трубку. Кармен берет телефон, медлит, но сбрасывает вызов. Я смотрю в пол. Кармен садится на корточки и заглядывает мне в глаза. Моргаю, качаю головой. Показываю ей на свой компьютер в кабинете.

— Weiter ohne mich, — говорю я и направляюсь прочь.

— Wie lange? — летит мне вслед.

Я, не оборачиваясь, пожимаю плечами.

Небо почернело, как нефть. Город наспех вспыхивает тут и там, боясь быть поглощенным тьмой. Я сижу в такси и смотрю на удаляющуюся телебашню, которая протыкает небосвод и подмигивает людям сверху. Меня колотит. Сердце стучит с потугой, то сжимаясь от удушья, то врезаясь в грудную клетку, бьет, таранит меня изнутри. Холодно. Я съеживаюсь. Забыл пальто — так и поехал в костюме, успев прихватить лишь бумажник с паспортом. На виске собирается липкая холодная капелька и скользит по

¹Тебя (нем.)

²Дальше без меня (нем.)

³Надолго? (нем.)

коже. В висках тоже стучит: каждый удар норовит сорвать капельку, но она всё ползет и ползет, мерзкая, тонюсенькая.

Маму арестовали? Маму. Маму! Как ни стараюсь я откопать логические предпосылки этого события в прошлом, всё тщетно. Факт не укладывался в голове, этого просто быть не может! Я банально ослушался! Надо перезвонить Лене. Роюсь в списке контактов, но ее номера нет. Задворки памяти подсказывают мне, что я удалил его энное количество лет назад. Неудивительно. Жаль. Номер есть у Кармен! Открываю было рот, чтобы развернуть таксиста назад, к башне, как вдруг салон пронзает вспышка.

Я откидываюсь на спинку сиденья, сердце проваливается. Через несколько секунд город оглушает грохот. Гроза. Я шепотом матерюсь и выдыхаю. Назад не поеду, Кармен можно позвонить. Такси попадает в пробку, мы даже не выбрались из центра. Я нахожу контакт Кармен, палец подлетает к зеленой кнопке и замирает. Пятнадцать минут восьмого, уже идут новости. Она не ответит, даже если я позвоню. Что-то еще во мне воспротивилось этому звонку, но я не успеваю понять, что: в окно постукивают. Я одергиваю шею и матерюсь еще раз. Это капли. Хлынул ливень. Такси медленно ползет по трассе, ливень штурмует стекла, крыши, дороги. Он настолько плотный и частый, что дворники на лобовом стекле ползут еле-еле, хоть работают исправно, просто не успевая справляться с набегаящими волнами. Я колочусь, но в салоне нехолодно. Таксист косо смотрит на меня, но молчит. Только время от времени нажимает на газ, сдвигая машину на пару сантиметров. Я закрываю глаза.

В аэропорт мы приезжаем без двадцати одиннадцать. Несколько метров от такси до центрального входа хватает, чтобы мой костюм промок и потемнел. На кассе роняю карточки, деньги, документы. Руки прячу в карман и сжимаю в кулаки. Пусть не видят, как они дрожат.

Все рейсы из-за непогоды отменены до шести утра. Я всё равно беру билет и отправляюсь в зал ожидания. Нет сил и желания возвращаться в Кёльн. Плюхаюсь в кресло и проверяю телефон. Почта набита, несколько пропущенных, включая два от начальства. Помедлив, прячу телефон и протираю глаза.

Я не был в Речице почти два года.

3

Самолет вылетает в полдевятого утра. Дорога проходит в тумане, я толком ее не помню. Нервы, мысли и пот исчерпаны. Костюм смялся под стать лицу.

На речичком автовокзале оказываюсь сутки спустя. Дико морозит, хоть

на дворе июль. Из ясно-голубых облаков прорывается солнечный луч и бьет мне прямо в глаза. Я щурюсь. Плетусь к главному выходу, периодически отклоняясь от траектории то вправо, то влево. Благо милиции нет.

У выхода стоит фигура, более ухоженная и привлекательная, чем все остальные. Я вглядываюсь в нее. Знакомое женское лицо, только черты как-то похорошели, отметились зрелостью. Заметив меня, фигура оживает и стремительно направляется ко мне. Я узнаю ее. Лена.

Удивление не успевает застыть у меня на лице, а Лена уже сжимает меня в объятиях. Я осторожно обнимаю ее в ответ. Мы стоим так долго, пока время не исчезает. Сердце дубасится изнутри, звуки расписаний, моторов и людской суеты текут через уши так легко, словно вокруг тишина. У меня начинают колотиться зубы. Лена отстраняется от меня и осматривает с головы до ног. Она ищет взглядом багаж. Я развожу руками. Лена качает головой и берет меня под руку. Мы уходим с автовокзала.

— Откуда ты знала, что я приеду сейчас? — спрашиваю я.

Лена смотрит на меня с беспокойством, но потом принимает снисходительный вид. Она допускает, что за сутки дороги я мог немного сойти с ума.

— Ты сам мне написал, — говорит она, — я тебя попросила. Твои бабушка с дедушкой волнуются.

До бабушкиной квартиры двадцать минут пешком. Пока мы идем, я боковым зрением чувствую на себе ее взгляды и делаю вид, что осматриваю город. Следовало бы сказать что-то еще, но родить получается не сразу.

— Как ты? — мямлю я и морщусь от своего вопроса.

Лена не спешит отвечать, и я вынужденно перевожу на нее взгляд.

— С ней всё хорошо, Андрей, — говорит она, — не переживай.

— Ты что-то знаешь? — голос у меня подсакивает.

Вопрос заканчивается слишком быстро для того, чтобы беседа казалась по-светски беззаботной. Лена качает головой.

— Твоя бабушка ничего мне не сказала, — отвечает она, — только просила до тебя дозвониться. Я своим ничего не говорила, если что. Ни маме, ни мужу.

Я бросаю взгляд на ее руку и обнаруживаю там кольцо. Мысль о том, что у Лены за все эти годы что-то происходило в жизни, кажется мне невероятным открытием. Она понимающе мне кивает. Причем в глазах такое красноречие, будто у нее уже и дети и чуть ли не внуки на подходе. Наверняка перегибаю с выводами, но доля истины в этом есть. Я отвожу взгляд и продолжаю рассматривать город.

Заворачиваем на Советскую. Ничего нового: такие же дороги, здания, ларьки. Только рекламные билборды обновились, и то половина — другая продолжает выцветать каждый год. Радостные белорусы растворяются на

плакатах, как призраки. Блеклые лица с флагами сияют на солнце упорно, гордо. Им уже не страшен десяток-другой блеклых лет. Они и внуков Лены с блеском переживут.

— Зайдем в магазин, — вдруг предлагает Лена и сворачивает в возникший сбоку «Доброном».

Я плетусь за ней. Внутри снова ничего нового. Несколько незнакомых вариаций кваса и «колы» без сахара. Новые лампочки. Ценники в бейджиках. Лена проходит сразу к кассе и берет лежащий поверх жвачек одинокий киндер-сюрприз. Всё-таки есть у нее дети. Она расплывается, мы выходим из магазина, и неожиданно она протягивает киндер мне.

— Порадуй Лизку, — говорит она. — И не надо говорить, что от меня. Это ты у нее любящий брат.

Видимо, у меня на лице проступает изумление со смесью благодарности и даже стыда. Смесь достаточно красноречивая, чтобы Лена ее считала и кивком приняла. Она кладет свои руки мне на плечи и смотрит на меня в упор. Я давно, еще с тех времен, запомнил блеск ее глаз: в разные времена они то отливали голубизной, то серели под стать ее строгому школьному костюму. Сейчас они голубые, как ясное небо над нами, и блестят так, что ни оторваться, ни спрятаться.

— Андрей, — говорит она мягко, но четко, — если тебе нужна помощь или захочешь поговорить, звони, пиши. Я всегда на связи. Не стыдись своих чувств и не бойся о чем-то просить. Я просто хочу тебе помочь. Я знаю, что сейчас ты придешь домой и тебе будет очень непросто. Может, со временем даже хуже, не знаю. Наверное, слава Богу, что не знаю. Но помни, что я у тебя есть. Да, мы давно не пара и друг для друга уже чужие люди. Не думай, что ты мне что-то от этого должен. Я так сама хочу. Сама, слышишь? Ты понимаешь меня? Понимаешь, о чем я прошу?

Я открываю было рот, чтобы что-то сказать, но вылетает только воздух. Слов нет. Киваю медленно, с усилием, как старая проржавевшая карусель. Лена всматривается в меня. Взгляд ее беспокойный, всё более блестящий: я с ужасом замечаю, как ее глаза увлажняются. Всё внутри меня сжимается, как-то гадко щемит в горле. Она так переживает за меня, несмотря на всё, что было. Неужели такое возможно? Неужели есть в мире такая душа?

Лена обнимает меня. Сердце у меня внутри бешено колотится, еще немного — и пробьет Лену насквозь. Ее сердечко стучит еле-еле, но часто, легким молоточком, аккуратным стуком пробиваясь к моему телу. Еще десять минут назад я не знал, о чем ее спросить. Прежнее оупление сменяется нахлынувшим любопытством. Я хочу знать о ней всё. Что она чувствовала тогда? Как прошли ее годы? Как она нашла мужа и как зовут ее ребенка?

Чем она живет теперь, кем работает? Но момент отравлен, а вопросы неуместны. У меня свое горе, а с Леной... С Леной хорошо бы увидеться еще раз. На что я надеюсь?

— Мне пора, — говорит Лена.

Я выпускаю ее из объятий вяло, с задержкой. Лена сочувственно мне улыбается и машет рукой. Несколько мгновений спустя ее поглощает автобус на другой стороне улицы. Слишком быстро. Я тупо смотрю по сторонам и бреду к бабушкиному дому. Старая пятиэтажка уже торчит вдали и вызывает легкую дрожь в ногах. В руке что-то лопается. Я разжимаю ее и вижу киндер. Киндер нагрелся и потек. Сквозь сморщенную упаковку просачиваются на землю густые коричневые капли. За полчаса речичский дубак сменился жарой с оранжевым уровнем опасности.

Ключ в замке дергается, но не поворачивается. Дверь открыта. Я захожу в квартиру и слышу трель кукушки на кухне: уже девять. В квартире тихо, будто никого нет. Вдруг слышу, как аккуратно, тихо открывается дверь в дальней спальне. Выходит бабуля, прижимает палец к губам: Лизка еще спит. Я снимаю обувь и подхожу к бабуле. Она всё такая же, какой я видел ее два года назад. Только лицо усталое, выжатое, с уже четко очерченными морщинами. Волосы недавно подстрижены и покрашены в светло-рыжий. Она стала тучнее, совсем чуть-чуть. Всё та же родная бабуля. Мы обнимаемся. Она проводит меня в мою комнату: кровать расстелена, на ковре примостились палатка, ящик, набитый игрушками, и деревянный стол с раскрасками. В нос ударяет домашний запах, тонкий, успокаивающий, сотканный пылью, потом и десятком прожитых лет. — Есть будешь? — спрашивает бабуля. — Я полотенце в ванну положила, вещи в тумбочке, вот тут... Ты помоешься сначала или поешь? Или поспи, столько в дороге-то, в тумбочке всё найдешь, там и майки, и шорты, трусы...

— Что с мамой? — обрываю я бабулю.

Та на секунду застывает и отмахивается. Я повторяю вопрос с еще большей жадностью и чеканностью.

— Потом, — говорит бабуля, сморщившись, — поспи хоть.

— Хочу сейчас, — не унимаюсь я, — где она? Что случилось? Что с ней произошло?

Бабуля гневно шикает на меня, рефлекторно оглядываясь в сторону Лизкиной комнаты, потом семенит к выходу и жестом приглашает меня на кухню.

Мы молча проходим на кухню. Я сразу же прячу жижу-киндер-сюрприз в холодильник. На газовой плите кастрюля со сковородкой. В кастрюле

молодая, недавно сваренная картошка, на сковороде почти остывшая свиная отбивная. Я сажусь за стол и в упор смотрю на бабулю. Та накладывает мне порцию, строгаёт простенький салатик из огурцов и помидоров в оливковом масле, ставит передо мной всё это домашнее великолепие. Я не притрагиваюсь. Бабуля усаживается напротив, долго протирает глаза. И сразу лицо у нее еще больше сморщивается, просыхает. Морщины вздуваются, набухают. Разве могут морщины раздуваться? Эта мысль залетает ко мне на секунду, но тут же уступает место другой: глядя на бабулю, я ощущаю, будто провалился в самую больную часть ее души, наткнулся на нечто настолько интимное, что вообще не должен был увидеть. Я отвожу глаза, режу отбивную на квадратики и молча кладу самый большой в рот. Мясо растекается по языку пряным соком. Божественно. Бабуля долго молчит. Каждый из нас в своих мыслях. Мой взгляд утыкается в сочный масляный помидор, ее — тонет где-то в стене сбоку от меня.

— За дело ее посадили, — наконец со скрипом произносит бабуля. — Сама виновата. Попалась.

Я поднимаю взгляд на бабулю. Посадили? Я не ослышался?

— В тюрьме уже сидит, — словно угадывая мой вопрос, продолжает бабуля, — мы тебе сразу хотели сказать... Но мама запретила. Мол, хай не нервничает, еще идет следствие, адвокат сказал... Адвокат то, адвокат се... Не адвокат, а трепло какое-то... Что был на суде, что не был — один черт. Козел...

— Когда был суд? — перебиваю я бабулю. — За что судили?

Бабуля вздыхает. Отбивная уже прикончена, от салата остается только бурая лужа на дне мисочки. Бабуля тербит в руке ручку и время от времени рисует каляки на лежащей рядом газетке. Калякает и рассказывает. Всё с самого начала.

4

Уже пять лет мама работает на «Речицаторф». История началась на третий год, едва мама вышла из декретного отпуска. По неясным ни для кого причинам с завода уволилась главная бухгалтерша. И ладно бы просто так — другую работу предложили или тот же декрет стукнул — но уволилась без причин, в один день, с треском и страстной ненавистью, обращенной к начальнику при одном лишь его упоминании. Поползли слухи. О чем перешептывались — и так понятно. Ничего оригинального в стенах старого совкового коллектива предположить не могли. Интерес жадных работников инстинктивно дернулся, когда на следующий же день маму назначили новой главной бухгалтершей. Но тут уж почва была слишком неблагоприятной: мама только вышла из декрета, все ее знали как адекватную и приличную женщину со стажем работы и непоказуш-

ным трудолюбием. Высохла сплетневая веточка. Держалась еще какое-то время на разговорах об экс-главбухше, но мы-то помним, как у всех дела с фантазией: перемусолив вдоль и поперек одни и те же невероятные гипотезы, языки изжили себя, а тему засыпало новыми полусвежими страстями. «Речицаторф» продолжило работу.

Работалось маме тяжело. После декрета, да еще и на руководящей должности, да еще и на полставки — впрочем, полставки только на бумаге. Фактически мама возвращалась к бабуле под вечер, забирала Лизку и с пакетом, полным рабочих документов, в одной руке, и ручкой от коляски в другой шла домой. Муж отпахивал полторы ставки. Спустя полгода дурдом закончился. Мама перешла на полную ставку, уже не брала домой документы, даже начала возвращаться за Лизкой пораньше. Пошли премии. Оттремели скандалы и головная боль. Лизка становилась всё разговорчивее и интереснее, я появлялся всё реже. Семейная жизнь приобрела хоть какой-то сладковатый привкус. Но ненадолго.

Как-то раз мама возвращалась с Лизкой домой и встретила бывшую бухгалтершу. Ну как встретила. Оказалось, что последняя давно за ней наблюдает и всё ищет возможность поговорить. Тогда разговор казался вполне себе невинным — по крайней мере, в таком виде мама преподала его бабуле. Мама рассказала бабуле, что «поговорили о том о сем», что экс-главбухша уезжает за рубеж на сезонные заработки и что рассчитывает остаться там навсегда. Мама удивилась такому настрою и поделилась своим недоумением с бабулей — собственно, одним только этим удивлением и переминованием диковинной чужой судьбы маме удалось отвлечь внимание бабули от другой эмоции, возникшей у нее после разговора.

— Теперь-то я всё понимаю, — говорит бабуля, качая головой, — только, дура, поздно поняла. Слишком поздно...

— Поняла что? — спрашиваю я.

— Предупредила она ее, — помолчав, отвечает бабуля.

— Мама бухгалтершу?

— Да нет, наоборот. Мол, не играйся, а то поздно будет. У тебя муж и дети, брось это всё, не лезь. Но куда уже там, не лезь. Влезла...

Из другой комнаты слышится звонкий голос Лизки. Ребенок просыпается и со всей свежестью своей юной души извещает о себе. Уголки губ у бабули расползаются, она встает и быстренько шаркает к Лизке. Я слышу ее «Ты проснулась? А-я-яй, проснулась, молодец!» и тоже отправляюсь проведать сестренку. Бабуля открывает черные шторы. Лизка сидит на кровати взъерошенная и трет глазки. Она смотрит на меня вначале с недоумением, а потом улыбается.

— Что, узнала брата? — ласково говорит бабуля. — А-я-яй, Андрей приехал!

Продолжая довольно улыбаться, Лизка сползает с кровати, с громким топотом подбегает к бабуле и обнимает ее ногу. Она устремляет ручки наверх, а личико утыкает ей в живот, как-то хитро улыбаясь и пряча глаза. Стесняется меня. Бабуля, смеясь, берет ей на ручки и поворачивает в мою сторону. Лизка тычется лицом бабуле в грудь.

— Ну ничего, — говорит бабуля нежно, — привыкнет. Что, Лизка, кушать хочешь?

— Кушать, — лепечет Лизка, — галедны.

— А что кушать будем? — спрашивает бабуля. — Кашку, картошку с мясом?

— Кяртофку, — звонко, громко отвечает Лизка и вдруг смотрит прямо на меня, довольная, как слон.

Вот как она умеет! Я улыбаюсь ей. Бабуля тоже довольна внучкой.

— Ну что, подросла? — спрашивает бабуля у меня.

Я киваю. Сестренка стала выше, волосы пшеничные, взъерошенные, отросли уже до плеч, лицо улыбается, а улыбка сверкает целым рядом молочных зубиков. Это уже не комочек, а маленькая единичка, бегающая, смеющаяся, кушающая, тараторящая. Я так и чувствую, сколько энергии из нее сейчас поперет. Даже если не захочу, какая-то часть ее волны всё равно меня накроет.

Теперь это создание без мамы. Черт знает, на сколько лет.

— Па-а-ап! — говорит Лизка.

Я слышу, как хлопает дверь и кто-то входит в квартиру. Мы выходим встречать гостя и обнаруживаем моего деда.

— Де-е-ет! — исправляется Лизка и начинает активно ерзать в руках у бабули.

Та ставит ребенка на пол, и вот уже Лизка бежит на руки к деду, который ее подхватывает и подбрасывает несколько раз с нежным «Оп!» Уж кто-кто, а дед не изменился. Не сморщился, не потолстел, не поменял гардероб — такой же гладко выбритый, с гудящим басом, разве что волосы чуть более седые, хотя седее некуда.

— Братик твой приехал, да, Лиза? — гудит дед и наблюдает, как сестренка смотрит на меня. — Узнала?

— Узнала, — с победой в голосе отвечает за меня бабуля.

Яжимаю деду руку. Тот наспех снимает туфли и проходит в зал. Мы за ним.

— Ну что, Лизка, во что сегодня поиграем? — говорит дед и ставит сестру на пол.

Та бежит к ящику с игрушками и рассыпает их по ковру. Дед переглядыва-

вается со мной и бабулей.

— Уже всё рассказала?

— Нет еще, — отвечает бабуля, — еще не всё.

— Ну так шо ты стоишь? — гудит дед бабуле, потом мне. — Только приехал? Не спал?

Я улыбаюсь его басу, который не слышал вот уже два года. Дед остается с Лизой, а мы с бабулей возвращаемся на кухню. Я ставлю чайник и убираю посуду в раковину. Бабуля снова берет ручку и калякает что-то в газетке. История продолжается.

После встречи мамы с экс-главбухшей всё пошло по-старому. Неделя шла за неделей, месяц за месяцем. Съездили с Лизой в Польшу на пару дней. Положили в новой квартире плитку. Поменяли кухню. Короче, видно было, что в семье появились деньги. Глядишь, и ипотеку ударным темпом выплатят. Для бабули такой расклад не казался подозрительным: муж же программист, а программистам в нашей стране платят золотыми кирпичами. И вновь бабуля жалеет, что не поняла всё сразу: не может столько денег в семье так сразу водиться. Особенно, когда ребенок.

Арест случился месяц назад. На завод вломился ОМОН, изъясил все компьютеры, сгрузил в громадные черные ящики отчетность, документацию. Арестовали только директора. Завод временно закрыли. Мама прямо посреди дня вернулась к бабуле. Обсуждать было нечего, потому что никто не знал ничего. В пылу своего недоумения бабуля всё-таки заметила, что с мамой что-то не так. Причина вроде бы как была очевидной: только что на работе случился разнос, не пойми что будет дальше, откроют ли завод, когда вернут оборудование. Но стоит ли так бледнеть из-за этого, особенно, когда дело в начальнике? Или не в начальнике?

Мама в тот день ушла рано. Бабуля не противилась, хотя и ёкнуло сердце: слишком уж странно мама себя вела. Бабуля списала это на волнение. Вечером перезвонила ей, поинтересовалась, как самочувствие. Заставила маму выпить валерьянку и лечь спать. После этого с некоторым внутренним облегчением положила трубку. Трубка зазвонила через час. Звонил Евгений, мамин муж. Мама сделала, как бабуля велела: выпила валерьянки, легла отдыхать. Но не прошло и пятнадцати минут, как в дверь позвонили. Пришли следователи. Арестовали маму. Евгений пробовал было возмущаться и грозить адвокатом, но тщетно. Маму подозревали в мошенничестве в крупных размерах и повезли на допрос. Евгений рвал и метал бабуле в трубку. Он уже перезвонил адвокату. И процесс пошел. На кухню вбегает Лизка, дед — за ней. Дед усаживается на табуретку, а сестру пристраивает себе на колени. Лиза держит в руке жестяную банку с шашками. Она гремит ей, вытаскивает из нее по одной шашке и отдает деду. До чего просто развлекаться, когда тебе три года.

Дед вроде как с Лизой, но я чувствую, что он внимательно, напряженно слушает. Бабуля продолжает.

К концу недели всё прояснилось. Начальник «Речицаторф» воровал, и, как давний начальник, воровал давно и по-крупному. Мама зарисовывала дыры в бюджете. Расклад простой: или так, или увольнение. «Так» выбрала и она, и экс-главбухша. Последней латать дыры надоело, да и становилось всё труднее: начальские аппетиты росли. Кстати, простирались они уже не только на бюджеты, но и на саму главбухшу. Слухи ползли неспроста: эти двое действительно спали. Поэтому ее увольнение прошло с таким скандалом. Поэтому экс-главбухше пришлось уехать в Польшу, чтобы «чуть что» — ее не достали. Поэтому же перед своим отъездом она разыскала маму и отговаривала ее от опасной работы. Тщетно. Маме, слава Богу, спать с начальником не пришлось. Но чем дальше, тем более рискованным становилось ее положение. Она подделывала пачки документов, выдумывала изощренные схемы для вывода денег, завела отдельную черную бухгалтерию. И всё ради того, чтобы наворовать ровно столько, сколько хотел начальник. Или так, или увольнение. Каждая удачная схема щедро поощрялась. Налоговики не приставали. Бдительность заснула.

А потом вдруг начальник собрался в депутаты и его кто-то слил. Теперь срок грозил не только ему, но и маме: она числилась как соучастница. Доказательств против нее было слишком много. К операции готовились. За мамой следили несколько месяцев. Рейд был формальностью, но, благодаря ему, вся черная бухгалтерия, все спрятанные в закрытых тумбочках и сейфах схемы попали к следователям. Мама была обречена.

В понедельник Евгений взял отпуск. Он перевез Лизу к бабуле, а сам забегал по адвокатам. Из конторы в конторы ему повторяли одно и то же: суд всё равно будет. Маме грозит от двух до семи, и единственное, что в ее случае можно сделать — это напомнить судье о ее положении матери и отсутствии судимостей. Прокурор на сделку не шел. Суд назначили через две недели.

Евгений приходил к бабуле дважды в день: в семь утра и около девяти вечера. Во время визитов он большей частью молчал, хмуро делясь скупыми, тщетными новостями. Вновь и вновь ему отказывали. До суда осталась неделя. И тут в игру вступил дед.

— Зачем ты ему рассказываешь? — вдруг взрывается дед. — Вот зачем?

— Ну а что, не так, что ли? — испуганно оправдывается бабуля. — Это же было? Было! Чего молчать?

— ЗА-ЧЕМ? — обрывает дед и краснеет как рак, на висках у него проступают вены. — Ты можешь мне объяснить, зачем? Вот зачем?

— А почему нет? — теперь уже и бабушка возмущена. — Он что, не свой,

что ли? До гроба теперь молчать? Пусть знает! Что ты уже, его и своим не считаешь?

— Да причем здесь «свой-не-свой»? — дед гудит и чуть ли не искрится.

— Было и было! Чего опять мусолить? Пилить уже не за что? Потрын-деть не о чем?

Чайник истерически свистит. Лиза плачет и пытается сползти с дедовых колен. Я встаю и выключаю плиту. Перепалка между дедом и бабулей подутихает. Лиза прорывается на пол и с воем убегает в другую комнату. Бабуля шипит на деда и бежит вслед за внучкой. У деда каждая скула на лице напряжена. Он смотрит в сторону и качает головой. Я разливаю чай по кружкам и мою посуду. Из соседней комнаты периодически прорывается плач Лизы вперемешку с бабулиными попытками ее утешить. Я подаю деду чай и усаживаюсь обратно. Дед молчит, плотно сжав челюсти.

— Что случилось? — спрашиваю я.

Стараюсь мягко, но выходит, как у злого чекиста на допросе. Я слишком долго был на нервах и в пути, чтобы контролировать свой голос. Дед долго не отвечает. Слышно, как бабуля поет колыбельную.

— Твой отец говнюк, — вдруг чеканит дед. — Так ему и передай, когда встретишь. ГОВ-НЮК. А лучше мудак, так честнее будет, — и после этих слов смело поднимает на меня взгляд, мол, давай, размазывай меня. Я не шевелюсь. Кажется, глаза почти вылупились из век и сердце провалилось. Парок от чая гладит обмякшую руку. Мыслей нет, они ждут еще немного, еще хоть какой-то информации, прежде чем взорвать мне голову. Я смотрю на деда, как щенок, я жду от него хоть пару слов, еще хоть намек, но он молчит и сурово смотрит мне прямо в глаза.

— При чем здесь... — мямлю я, хотя уже догадываюсь.

— Забыл, кем папа работает? — обрывает дед резко, желчно. — Какое совпадение, что именно ему попало это дело! Какая удача! За такое и премию дадут, если не повышение! Что скажешь, а? Глядишь, вот-вот получит! Позвони папе-то! Спроси там, как дела, что нового, как работа? А? Спроси, а то что-то деду он не отвечает. И бабе не отвечает. И Жене не перезванивает. Абонент, сука, временно недоступен! Ну конечно, бляха, недоступен! Зачем холопам-то перезванивать? Зачем их нюни выслушивать? Похер ему уже на нас всех. И на маму похер в первую очередь! — Гриша! — бабуля с возмущенным шепотом влетает на кухню. — Ты с дуба рухнул? Помолчи лучше!

— А чего молчать-то? — громко возмущается дед.

Мы уже оба на него шикаем, но он сбавляет голос только на несколько секунд.

— Чего молчать-то? Все же свои, правильно? Что, неправду я, что ли,

сказал? Или Миша как-то по-человечески поступил, справедливо? А, баба? По-человечески это или как?

— Не надо было лезть к нему со своими деньгами! — не выдерживает бабуля. — Дожили бы до суда, дали бы ей семь, и всё, нормально! Так не сиделось же вам! Позвонили, умники!

— Ну, знаешь, Васильевна, это уже перебор! Мы хоть что-то делали, а ты...

— И что вы сделали? Семерку ей выбили? Молодцы, решалы!

Дед стучает чашкой с чаем о стол. Звон стекла, ржавый кипяток расплзается по столу, у деда на руках прочерчивается несколько алых струек. Бабуля ойкает и подскакивает. У меня кружится голова. Через пару секунд мы все приходим в себя. Я убираю осколки и протираю стол, бабуля достает бинт с перекисью и перевязывает деду рану. Дед снова поджимает челюсть, хмуро смотрит куда-то в сторону. Никто и слова не произносит. Ждет другого.

— Можете не рассказывать, — говорю я наконец. — Вроде и так всё ясно. Просто скажите, где мама.

На секунду время застывает, никакой реакции. Потом бабуля оживает, роется в кипе газет на столе, извлекает пожелтевшую картонку и протягивает мне. На картонке аккуратным почерком выведено: «ИК-4, Антошкина 3, Гомель». Я забираю картонку, благодарю бабулю и встаю.

— Поспи хоть, — говорит бабуля. — Вечером с Женей съездишь.

— И отцу мои слова передай, — добавляет дед.

Раздумывает и качает головой.

— Нет, не передавай. А то, бляха, пожизненное даст.

5

Кровать мягкая, обволакивающая и такая гибкая. Голова трещит и полураспадается. Она как чугунное ядро: вечно в поисках дна. Если сейчас лягу, проснусь в следующем веке. Белорусы выцветут на билбордах, а Лизу похоронят внуки. На телефоне сообщения от Кармен: она выбила для меня отгул, но если к концу недели не вернусь — уволят. Кармен спрашивает, как мои дела. Я улыбаюсь и пишу какой-то бред. Бред забывается, едва я выхожу из мессенджера. На кухне бабуля бренчит сковородками и слушает телевизор. Дед у себя в комнате и тоже с телевизором. У них включены одни и те же каналы. Эхо ментовских сериалов витает по квартире, оседая в моей комнате.

Мозги складывают картинку событий. Начальник вор, мама его покрывает, дед и Евгений лезут к папе с деньгами — и вот мама в тюрьме на семь лет. Деда можно понять, хотя и крайне тупой поступок: за те жалкие

годы, что родители были в браке, он явно даже близко не подобрался к папиной натуре. Не то чтобы я сам отца разгадал, но уж на месте деда так бы не делал. Хотя кто меня знает. Я даже представить не могу, что каждый из них пережил за те две недели. Но ладно дед — с ним всё более-менее понятно. Куда более занимательным объектом моих размышлений оказывается папа.

Он следил за мамой несколько месяцев. Он знал, что ее арестуют. Он беззаботно общался со мной по вайберу, даже намеком, даже невинным вопросом о маминых делах не выдавая себя и свою плетущуюся паутину. При том, что маму он любил даже после развода, а ее новый брак принял с плохо скрываемым огорчением. Я думал, что знаю папу. Думал, что какие бы чувства он там ни испытывал, мамино счастье для него что-то значило и будь возможность — он всё ради этого счастья сделает, всё, что в его силах. А потом он садит ее на семь лет. Максимальный срок. Просто за то, что отчаявшаяся родня полезла к нему со взяткой. Плевать на Лизу. Плевать на мужа, на пожилых родителей и их здоровье. Сыну вообще можно ничего не рассказывать! Главное — свой долг. Безукоризненная репутация. Максимальный профессионализм. Холодный, месяцами и миллиграммами выверяемый расчет. Неужели мой отец действительно такой? Неужели он ничего не чувствовал на суде? Что вообще творится в голове у этого человека? У него еще осталось что-то... Живое?

Чем больше я о нем думаю, тем паршивее становится. Затылок плавится, в ушах, если прислушаться, гудят сосуды. Лоб теплый. Самое время поспать, но вместо этого я открываю контакты в телефоне и набираю папу. Идут гудки. Сердце мечется, будто я в темной подворотне уворачиваюсь от ножа. Гудки идут. Ну конечно. Куда ему до меня. Может, он в этот самый момент получает грамоту от начальства. Или плетет новую изощренную паутину. Идут гудки. Наверное, он даже не знает, что я в Речице. Хотя мама тоже не знает. Она вроде как и бабуле с дедом запретила о себе мне что-то рассказывать. Гудки идут.

Телефон вибрирует, проезжаясь по уху, как бритва. Я подскакиваю. «Вы связались с абонентом номер триста семьдесят пять, четыре, четыре, два...» Робот чеканит цифру за цифрой, а я стою в оцепенении.

Я слушаю это «вы связались» каждый раз, когда приезжаю домой. Каждый раз. Слушал это в школе, из класса в класс. Больше половины моих звонков с самого детства натыкались на это «вы связались...» Я не связался!

Почему сейчас у меня покраснело лицо и закипает лоб? Почему я дышу тяжело, как астматик, а может, и того хуже, как бык? Робот заканчивает свою тираду и предлагает оставить аудиосообщение. Трубка

пикает. Я замираю.

Я знаю, что он меня сейчас не слушает, что эта запись до него даже не дойдет. Но что-то внутри прорывается, не находя выхода, пакуется в слова и вопит, как будто я не отцу звоню, а клянусь старого глухого Бога. Сморщиваюсь от собственной метафоры. Потому что это не метафора. — Тебе это с рук не сойдет, — шепчу я в трубку и сбрасываю.

План зреет прямо на ходу. Бабуля выбегает из кухни, с беспокойством наблюдая, как я одеваюсь. Кажется, у меня сумасшедший взгляд. Стараюсь не смотреть на себя в зеркало и не реагировать на бабулины реплики. Те звучат всё громче и тревожнее. В ушах телефонные гудки. Дверь захлопывается, и последний звук, который долетает до меня из квартиры — крик Лизки. Ребенок просыпается. Я трогаюсь.

Речицкая прокуратура — это белый одноэтажный домик, растянутый на несколько метров. Не будь у двери титульной таблички цвета запекшейся крови, никто бы не догадался, какие дела тут вершатся.

Домик еще вдалеке, а у меня в груди холодеет. Кровь отливает к ногам. Как у без пяти минут приговоренного уголовного.

Около домика ни шума, ни охраны. За скромными воротами — зеленый дворик. В кронах деревьев щебечут птенцы. Солнце высекает из белых стен ослепительное, чуть ли не божественное сияние. Сощутив очи, плетусь по этому зеленому великолепию и открываю тяжелую стальную дверь. Сияние сменяется тьмой. Глаза слезятся, всё предстает в сине-желто-зеленых пятнах. Вскоре пятна рассеиваются, и передо мной, огороженный стеклом, проступает дежурный. Он и еще несколько видеокамер осматривают меня несколько ослепительных секунд. Коридор слева от дежурки — единственный путь в жерло здания — перекрыт турникетом. Я смотрю на дежурного. Он смотрит на меня. Его взгляд гасит амбиции и города.

— Добрый день, — мягко чеканю я. — Как мне попасть к Михаилу Виннику?

— Никак, — футболит дежурный. — Он на задании.

— Ах, на задании? — я хлопаю глазками. — Какая досада.

Дежурный вкладывает в свой последующий взгляд столько ненависти и пепла, сколько даже тупому хватит, чтобы вылететь отсюда. Но я стою на месте. Молча смотрю ему в лоб и жду.

— Что передать? — спрашивает дежурный с видом надменной, всеми двенадцатью ляжками привставшей во имя огромной любезности жабы.

— Передайте ему, что заходил Винник Андрей, — говорю я. — И что сейчас Андрей едет в «тут бай», а потом в «онлайнер», чтобы вся страна

узнала об инцестовых оргиях Михаила Васильевича. Я устал это терпеть. До свидания.

Разворачиваюсь и выхожу из прокуратуры. Уверенным прокурорским шагом двигаюсь по направлению к вокзалу. Как быстро ему обо мне доложат? Наверняка быстро, но суть не в скорости. С его мозгами, вычисляющими десятки шагов и схем, на порядки более тонких и изощренных, чем этот тупой сыновний выкрутас, он вскроет блеф за секунду. Вопрос в другом: если недотепа-сын пускает в ход такие штуки, не наделает ли он чего лишнего по-настоящему? Здравый смысл и годы «воспитания сына» подскажут отцу, что вряд ли. Слишком много сил он вложил в мою адекватность, и, пусть неявно и через раз, но она себя проявляет. Только проявится ли в этот раз? Беспокоиться или просто подождать, пока я остыну?

И тогда сработает его проклятие, его гений, единственный рычаг, на который я способен давить: он не пойдет на риски. Он не был бы прокурором, если бы не контролировал ситуацию полностью, как мелодию по нотам. Если сын действует не так, как ему предписано, если он ведет себя подозрительно, то и обращаться с ним следует соответственно. Каждый мой шаг, звонок, действие окажутся под его прицелом, и до тех пор, пока он не убедится в моей мягкости и пушистости, ствол не уберет.

Не знаю, когда это случится, но он устроит за мной слежку. Я не параноик. Я плохо знаю отца. Но даже того, что я знаю, достаточно, чтобы содрогнуться при одной лишь мысли о том, что творится в его голове. Пока он не ломал хребет моей семье и моей судьбе, я был готов считаться с такими методами и нормальностью его морального кодекса в мире, где он преуспел. Но он посадил маму. Он пустил кровь своим. Теперь ему не сойдет с рук, как бы он ни купался в собственном превосходстве. Он уже трясется и пытается просчитать меня. Я не прячусь. Я раздавлю его в открытую.

По пути на вокзал я созваниваюсь с редакцией «Тут бая», «Онлайнера», «Буздьмы», «Нашей нівы», даже «Хартии». Всем громко и отчетливо, чтобы улица вокруг меня слышала, сообщаю о том, что мой отец, Михаил Винник, генеральный прокурор г. Речицы, посадил свою бывшую жену и мою маму, Лилию Винник, не просто потому, что она совершила финансовое преступление, а чтобы заставить ее молчать об инцесте. Да-да, об инцесте. Верно, по отношению ко мне, к Андрею Виннику. Да, я его сын. Работаю в Германии. Уже пять лет. Не мог больше терпеть его здесь. Да, он приставал ко мне до самого отъезда, даже отговаривал от Германии, даже угрожал. Конечно, я готов рассказать это лично, уже еду в Минск. Да, с микрофоном, с видеозаписью, я ничего не боюсь, это больше не секрет. Нет, никаких гонимых, я просто хочу справедливости, я хочу, чтобы люди знали правду. Да, остальные редакции тоже в курсе. Нет, никаких

эксклюзивов, мне не нужны ваши рейтинги, приходите все сразу, созывайте пресс-конференцию, делите вопросы и материал, ваше право, только организуйте это мне, сегодня, в Минске, организуйте немедленно и обязательно опубликуйте, сегодня, сразу, с прямой трансляцией в ютубе. Я в порядке, но у меня мало времени. Нет, я не вру. Доказательства? Только мои показания. Что же, до свидания. Нет, вы передумали? Так быстро? Меня встретят? Чудесно. Да, я понял, у центрального входа. Да, мой номер, записывайте...

Я иду по той оживленной улице, где полтора часа назад был с Леной. Пронесется «Доброном» и поблекшие белорусы, Советская исчезает за поворотом. Вдали прорисовывается контур вокзала. Слежки нет.

В кассах нет очереди. Я беру билет на ближайший поезд (он отходит всего через двадцать две минуты!) и отправляюсь на первый путь. Пассажиров немного. Поодаль стоят два милиционера, их рация выплевывает поток булькающих звуков, причем без остановки. Я замираю. Милиционеры не смотрят на меня. Они сканируют взглядом всех пассажиров на платформе. Секунда — и они направляются в мою сторону. Я застываю. Смотрю им прямо в глаза, прямо на них, не моргаю и не прячу взгляд. Голос из рации визжит, как мигалка, с надрывом прорываясь сквозь скрежет устройства. Милиционеры переходят на бег. Я ухмыляюсь. Они пробегают мимо меня, и скрываются в здании вокзала. Я перестаю дышать, не сразу осознав, что только что случилось. Ноги обмякли. Выдыхаю.

Поезд подъезжает за две минуты до отправления. Я успеваю выпить чай с пирожным и слегка унять дрожь в ногах. Сердце упрямо колотится. Захожу в вагон, нахожу свое место. Людей немного. Я закрываю глаза и качаю головой. Это не в папином стиле. Что-то здесь не так. В моей голове проносятся все возможные варианты и предположения кроме одной мысли: может, он действительно на задании? Может, ему не доложили? Я трясую головой.

Из здания вокзала появляются знакомые милиционеры. Они всматриваются в окна. Даже в вагоне я слышу, как захлебывается их рация. Взгляд одного из них натывается на меня. Он тут же подносит рацию вплотную к губам и отплевывает туда слова. Теперь и второй меня замечает. Изучив меня, как фоторобот, он возвращается в здание. Что-то происходит. Я не параноик.

— Уважаемые пассажиры, по техническим причинам наш поезд отправится через двадцать минут! Приносим свои извинения за задержку!

От первых слов я дергаюсь и подпрыгиваю. Слишком часто в последнее время, это ненормально. Проводница уходит в другой вагон. Пассажиры возмущенно шушукуются, но без энтузиазма. Я жду.

Из здания вокзала возвращается второй милиционер. Он направляется прямо к вагону. Момент — и он внутри. Я слежу за ним прищурившись, как за мишенью. Милиционер проходит вдоль пассажирских рядов, останавливается около свободного сиденья на ряду позади меня и усаживается. Доста-

ет телефон и как будто забывает о чьем-либо существовании. Я сверяюсь с часами. «Технические причины» исчерпают себя через пятнадцать минут. Я жду. Время растягивается и со скрежетом уступает мне каждую минуту. Я жду. Двенадцать минут, одиннадцать, десять, десять, десять, десять, десять, девять... Я закрываю глаза и мысленно запрещаю себе открывать их, пока поезд не тронется. Жду.

Проходит достаточно много времени, чтобы исчерпались десять минут. Поезд не трогается. Я не открываю глаза.

У меня звонит телефон. Я не открываю глаза. Телефон не сдается.

— Молодой человек, это у вас? — кто-то дергает меня за плечо. Я не открываю глаза. — Молодой человек! МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК!

Меня легонько хлопают по щеке. Я распахиваю глаза. Передо мной милиционер, он указывает на мой вибрирующий телефон. Я смотрю на экран. Звонит папа. Я сбрасываю и смотрю на милиционера. Он явно не ожидал такого развития событий. Хмурится, нижняя челюсть проступает вперед. Рация у него на боку взрывается хрипами, он отходит. Мой телефон звонит вновь. Я бросаю взгляд на окно и вижу первого милиционера. Он ухмыляется мне так же, как я ухмылялся им двоим несколько минут назад. Телефон и не думает успокаиваться.

— Уважаемые пассажиры, придется еще немного задержаться, еще десять минуточек, пожалуйста...

Я сбрасываю. Телефон звонит вновь. Жму кнопку выключения, но экран подвисает за секунду до того, как я до этой кнопки добираться. Вскрываю корпус и достаю батарейку. Теперь точно не достанет. Ко мне возвращается второй милиционер и протягивает телефон. На экране идет вызов, включена громкая связь.

— Сынок, не задерживай поезд, — чеканит знакомый с детства голос на весь вагон. — Никто не уедет, пока ты не поговоришь со мной.

Телефон тянется навстречу моей руке. Весь вагон поворачивается в мою сторону. Пассажиры даже не пытаются спрятать свои взгляды. Они открыто, бесстрастно меня изучают. Трубка висит в воздухе. Я не двигаюсь.

— Я тебя не держу, — продолжает папа, — Едь в свой «Тут бай» и ври про меня, что хочешь. Но — прошу тебя! — перед тем, как сделаешь свою глупость, поговори со мной.

— Если бы не «Тут бай», — говорю я, обнаруживая, что каждое мое слово звучит всё громче и пронзительнее, — ты бы даже трубку не поднял! Даже не перезвонил! Думаешь, тебе всё можно? Думаешь, никто тебя не остановит? Я тебя остановлю! Все узнают, все! Все узнают, кто ты на

самом деле!

— Не будь истеричкой. Возьми трубку и поговорим по-взрослому.

— Зачем? Почему я должен слушать тебя? А меня ты слушал? Меня ты слышал все эти годы, МЕНЯ, прокурор?

— Думаешь, ты испортишь мне репутацию? Нет. Отомстишь за мать? Нет. Твоя месть бесполезна. Она не решит проблемы.

— Неужели? Давай проверим.

— Ты злой и напуганный. Ты устал и действуешь импульсивно. Ты привлекаешь мое внимание, потому что нет человека, на которого ты выплеснешь свой гнев. Не с кем поговорить. Я тебе помогу. Я выслушаю тебя, сынок. Только возьми трубку. Пожалуйста.

К милиционеру подходит проводница. Она — как и весь вагон — молча вглядывается в меня. Всем всё понятно. Все ждут, все требуют своим молчанием только одного. Я не хочу брать телефон, но не могу. Не могу. Все против меня. Он давит на меня. Давит на меня всеми. Трубка молчит. Молчит вагон. Держаться дальше бесполезно — пять секунд пройдет или пять часов — поезд не тронется, вызов не отключится, рука с телефоном продолжит висеть в воздухе, милиционер, проводница, пассажиры — всё останется и будет выжимать из меня последние крохи сопротивления. Даже сопротивление он смешал с идиотизмом, даже его обесценил. Рука тянется к трубке и дрожит. Громкая связь отключена. Как только я подношу трубку к уху, отец вдавливая в меня:

— Выходи из поезда.

И обрывает звонок.

6

Черный BMW останавливается у высокой металлической стены. Вокруг лес. Над стеной торчит этаж симпатичного домика — третий этаж. Ворота не распахиваются. Калитка приоткрыта. Водитель не смотрит на меня, но его молчаливость, отреченность, будто меня здесь нет, и он замер, движимый лишь неведомой глубинной целью, весь вид его говорит: мы приехали. Выходи.

Я выхожу. Едва дверь закрывается, BMW рычит и отъезжает обратно, на единственную лесную тропу, по которой мы только что ехали. Лес быстро заглатывает и сам автомобиль, и любой намек на звук мотора. Резко становится тихо.

Я подхожу к калитке. Рядом с ней вбит домофон с камерой. Крохотная красная точка подмигивает мне каждые пять секунд. Я вглядываюсь в камеру, будто надеясь разглядеть в ее линзах папин зрачок. Он точно смотрит на меня, пусть даже не здесь, не под дверью. Даже не сомневаюсь.

Вхожу внутрь, закрываю за собой калитку. Я не ошибся. Передо мной трехэтажный домик — если не сказать, особняк. Не роскошный, но современного типа, светло-кофейный, с террасой, гаражом и деревянным домиком в сторонке (явно баня!), с просторными окнами на пол-этажа и двумя балконами — по одному на втором и третьем этажах. Дверь у террасы открыта. Проход прикрыт легкой, как сползающая ночная накидка, шторкой. Я подныриваю под шторку и оказываюсь в маленьком тамбуре. Две деревянные двери — спереди и справа от меня — закрыты. Слева ДНК-образная лестница, ведущая на второй этаж. Двери закрыты, потому что мне не туда. Я поднимаюсь по лестнице и оказываюсь в комнате, сразу подающей себя как рабочий кабинет отца. У окна в другой части комнаты стол. К стене прислоняется своими широкими полками книжный шкаф. В комнате напротив друг друга стоят два кожаных кресла, каждое повернуто спиной к одному из окон. Отец сидит в кресле-качалке, ближе к рабочему столу. Когда я замечаю его, челюсть сама отваливается, а глаза распахиваются.

Отец встает. Такая же военная выправка, синие брюки и голубая рубашка с галстуком под цвет брюк. Очень много седых волос, при том, что их рубеж отполз к району макушки). Лицо заостряют скулы и подбородок. Всё оно ссохлось, и первые морщины прочерчивают на нем линии, располагавшие его, как порезы. Даже брови посыпаны тонким седым налетом, отчего взгляд постарел. Еще старше он выглядит, когда хмурится. Он думает, что так выглядит жестче, тверже. Но седина, и морщины, и эти порезы от морщин дают трещину его образу. Только голос — такой же, каким я его запомнил двадцать семь лет назад, какой звучал из телефонной трубки на весь вагон — только голос рассекал и властвовал.

— Я рад тебя видеть, — неожиданно ласково произносит этот голос.

Отец подходит ко мне и протягивает руку. Я прохожу мимо, осматриваюсь и сажусь в одно из кожаных кресел. Папа молча садится на второе и смотрит мне в глаза. Я не выдерживаю его взгляда и делаю вид, что протираю глаза от усталости.

— Ты повзрослел, — говорит папа. — Как успехи в Кёльне?

— Брось ты этот Кёльн, — отрезаю я. — Я только пришел, и первый твой вопрос — про Германию. Опять Германия. Нет тем поважнее?

Отец отвечает не сразу. Уголки его рта кривятся, но тут же распрямляются обратно. Он улыбается.

— Что ж, — говорит он, — я вижу, тебе есть, что мне сказать. Ты многое пережил, много мыслей, волнений, вопросов. Расскажи мне, что с тобой. Расскажи мне, что тебя тревожит. Говори всё, как есть, без непоняток и недомолвок. Даже если жестоко — говори мне всё, что в тебе есть. Пожалуйста.

Я молчу. Он превращается в статую и ждет. Лишь брови приглашающе приподнимаются — мол, говори, я слушаю. Я молчу. Пауза растягивается.

— Ты голодный? — вдруг спрашивает отец, его фигура снова оживает. — Котлеты с картошкой? Чай, кофе? Может, поспишь, я никуда не спешу, можем и вечером...

— Вечером я еду к маме, — говорю я. — Хочу ее навестить.

— Хорошо, — кивает отец, даже не дернувшись и бровью не поведя. — Тогда давай сейчас. Принести тебе чего-нибудь?

— Почему ты посадил ее на семь лет? Почему максимальный срок? У нее же ребенок. У нее семья! Почему суд этого не учитывал? Почему?

— Это толковый вопрос, но для начала давай разберемся с тобой. Ты на взводе, а я хочу, чтобы мы поговорили спокойно, по-взрослому. Ты еще не готов. Ты сейчас взорвешься, только иголкой ткни — и всё, бах! Давай-ка мы от этого избавимся. Выплеснись.

— На каком основании ты разрушил нам семью? Кем ты себя возомнил?

— Сынок, ты на эмоциях. Ты сейчас не готов.

— Конечно, не готов! Всю жизнь был не готов! Всю жизнь зеленый, всю жизнь не прав, и только ты — О Боже! — знаешь, как должно быть и как правильно...

Да. Он ткнул меня иголкой, и дерьмо полилось. Я припомнил ему всё.

Я припомнил, как он десять моих первых лет жизни провел в Минске, колеся в Речицу на выходные. Каждые выходные он ругался с мамой. Каждый раз всё жестче. В итоге он переехал к нам, но легче не стало. Брак рухнул через три месяца. И это он подал на развод.

Я припомнил, как он накручивал меня на Германию. Разговор за разговором, с самого детства. Как он внушал мне, насколько убогое в нашей стране образование и что думать о БГУ и БГУИРе — значит обрекать себя на два года распределения в этой дыре, где нет будущего, где скоро всё стремительно рухнет. Так же, как и твой с мамой брак. Я припомнил, как он радовался моему поступлению и повесил пригласительное письмо от университета в рамочку. А потом, когда я поменял паспорт, он забрал старый себе и во вторую рамочку повесил страницу с моей немецкой визой. Он был — и есть — одержим. Ему плевать, что я хочу. Он хочет, чтобы я был там. Потому что сам не смог. Потому что я его проект, его коробка с амбициями. Его. Не своя. Я припомнил, как он указывал мне, что такое правильно и неправильно, как берег от глупостей и ненужных ошибок. Я еще зеленый, я еще потом его поблагодарю и паду ниц перед тоннами его житейского опыта и знания жизни. Я руки ему расцелую за то, что он так много мне дал и что я просто не понял еще, как всё это хорошо и прекрасно! Я приму его правильно и и разумно, как догму, склонюсь перед ней, как рыцарь перед королем Артуром.

Я припомнил все ругательства и проклятия, какие гнили в моем мутном колоде, черпал и черпал их, швыряя в отца, молча их впитывающего.

Спустя бесконечность я чувствую, что хватит. Но отец говорит: «Нет, ты не закончил». И я продолжаю. Я вынужден продолжить. Проклятия и обиды с грохотом, хохотом, ревом и визгом вырываются из моего рта, из самого моего нутра. Я выдыхаюсь, но папа говорит: «Ты не закончил. В тебе еще что-то есть». Сил больше нет. Но каждый раз оказывается, что осталось еще что-то, что источник не исчерпан. Я лью дерьмо дальше.

Вдруг в порыве обвинений — не знаю, сколько времени прошло — я осекаюсь, сраженный мерзким чувством: ведь я повинуюсь ему. Я знаю, что он прав. Он хочет как лучше, и я лью всё это на него, потому что с ним согласен, потому что он прав! Он не просто очищает меня — он выжимает меня, чтобы, когда я вконец иссякну, вылепить из меня то, что захочет. Я не смогу бунтовать. Я стану теплой глиной, а к моменту, когда застыну, приму форму, которую он мне придаст. Самое ужасное, что мне уже всё равно. Я понял это слишком поздно, чтобы взбунтоваться. Мне всё равно, что он скажет, пусть просто скажет, и я уйду. Хоть что-нибудь. Хоть чем-нибудь. Я тяжело дышу. Отец спокойно взирает на меня. Он понял, что я понял. Но не спешит этим пользоваться.

Папа молча встает и исчезает на лестнице. Спустя пару минут он возвращается с подносом — котлеты с картошкой, овощной салат, чай, вафли. Подкапывает ко мне маленький столик, ютившийся под рабочим столом. Ставит на столик поднос и садится обратно. Я бросаюсь на еду. Пожираю без разбору: вафли, котлеты, салат, чай, котлеты, картошка, салат, вафли. Мимолетом ловлю папины взгляды: он встревожен. Как будто я лежу на смертном одре, покрытый волдырями. Он смотрит на меня напряженно, взволнованно, одновременно нежно и заботливо. Теперь седина ему идет: она окрашивает его доброту в естественные тона. Он наклонен ко мне, его галстук качается в воздухе, как маятник. Мои глаза качаются вслед за ним. Со стороны, вероятно, я выгляжу удручающе, поэтому запикиваю в себя еще больше еды сразу с нескольких тарелок, отсекая мысль, что как раз-таки это и придает мне убогий вид.

Я отставляю пустые тарелки и откидываюсь в кресле. Отец тоже откидывается. Мы молчим некоторое время. Лицо папы разглаживается, и спокойным, будничным тоном он говорит мне:

— У тебя есть вопросы.

— Я уже один озвучил.

— Решение принимает судья, а не прокурор. Я просто предоставил отягчающие обстоятельства.

— Это ты про ребенка и мужа?

— Несмешно, сынок. Мамин муж пытался дать мне взятку.

— Его можно понять.

— По телефону, Андрей. Ты помнишь, в какой стране мы живем? Ты знаешь,

сколько у меня врагов? Одно слово ее мужа про взятку по телефону — и всё к чертям. Теперь либо я, либо меня.

— Оправдываешься, прокурор?

Морщины на лице отца прорезаются в боевой готовности. Ненадолго. Спустя секунду лицо разглаживается, а уголками рта он криво ухмыляется.

— Что же, — говорит отец, — я вижу, ты не всё уловил. Давай объясню иначе. Ты спрашивал себя, откуда у маминого мужа столько денег?

— Евгений продал квартиру. Вот и деньги.

— Его квартира стоит двадцать тысяч долларов. Он предложил мне пятьдесят. Я молчу.

— Ты спросишь, откуда еще тридцать тысяч? Можешь сказать, что мамин муж — программист и что они делали сбережения. Это верно. Однако их депозиты скромны, муж исчерпал их накануне следствия, чтобы оплатить юриста. Это не кредит и не долг, мы перепроверили. Остается единственный вариант: это ворованные деньги. Откат для твоей мамы. Она знала, что однажды может попасться, и сделала заначку, чтобы обеспечить семью. Муж всё знал. За это я и его мог посадить, но не стал. У малышки должен быть родитель. Ты хоть задумывался, что и он, и твой дед, подбивший мужа на звонок, могли уже сейчас быть на зоне?

— Как благородно. Лиза всего лишь без матери.

— Не драматизируй. Через два-три года сработают те самые смягчающие обстоятельства, которыми ты в меня тычешь. Ее отпустят по условно досрочному.

— Где гарантии?

— Это от нее зависит, не от меня. Я сделал свою работу.

— Слишком хорошо.

— Андрей, — отец снова наклоняется ко мне, галстук беспокойно мечется,

— ты вообще понимаешь, что твоя мама нарушила закон? Она наказана. Она может выйти домой через пару лет — ее начальнику такое даже не снится! Я не собирался ее подставлять. И не собираюсь. Повторяю, я просто сделал свою работу.

— Ты мог ее предупредить. Ее начальник виноват, начальник, а не она! Она бы уволилась, вы бы взяли начальника — и все были бы довольны!

— Думаешь, ее не предупреждали?

Я вспоминаю рассказ бабушки про экс-бухгалтершу. Отец напряженно всматривается в меня и кивает. Я качаю головой. Отец поджимает губы.

— Это ее выбор, Андрей, — мягко говорит отец. — Она имеет на него право. Я могу ее понять: она всё делает ради семьи. И я бы тоже сделал... — отец запинаясь. — Я скажу тебе одну вещь сейчас, очень важную. Ты не смейся и отнесись к этому серьезно. Я люблю тебя, сынок. Ты самый дорогой мне человек на

свете.

Я издаю смешок. Взгляд папы становится отсутствующим, он уходит в свои мысли.

— Сегодня ты наведишь маму, — говорит он, спустя какое-то время вернувшись в реальность, — а когда назад, в Германию?

— Я не вернусь в Германию.

— ЧТО?

Спокойствие и манерность слетают с его лица. Он в шоке. Он не верит своим ушам. Я улыбаюсь и спокойно ему отвечаю:

— Я не вернусь в Германию, пап. Пока мама в тюрьме, я буду здесь, дома.

— Это шантаж?

— Нет.

— Поверь мне, я правда не могу ничего сделать. Если бы мог — я бы сделал.

— Я верю тебе.

— Но твоя работа...

— Уволюсь.

— Сынок, ты столько лет старался, двигался...

— Я двигался? Мы уже обсуждали это, разве нет?

— У тебя всегда был выбор. Всегда...

— Хватит, — я бодро встаю, всем видом подчеркивая, что беседа закончена.

— Как мне попасть в город?

— Сынок, ты совершаешь огромную глупость. Ты просираешь всё.

— Я вызову такси.

— Не надо, — отец достает телефон и с рассеянным видом набирает номер, сказав в трубку «да», он смотрит сквозь меня. — За тобой приедут через десять минут.

Мы замолкаем. Папа не скрывает своего отчаяния. Все его доводы и аргументы разбиты о стену моей «невменяемости». Может, я действительно невменяем? Стараюсь не думать об этом. Жалость — это слабость. От нетерпения (или волнения) я расхаживаю по комнате из угла в угол.

— Я не поеду в «Тут бай», если тебе интересно, — говорю я.

Отец медленно поднимает голову. Поняв, что он пропустил мою реплику и только сейчас вернулся в реальность, я собираюсь с духом и заявляю:

— Ты говоришь, я всё просираю? Но я уже всё просрал. Я просрал свою семью, здесь, у себя дома. Я ничем ей не помог.

— У тебя еще будет своя семья, — отвечает отец. — Там.

Во дворе слышится гул мотора. Я иду к лестнице. Папа вскакивает было, чтобы проводить меня, но моя следующая реплика опрокидывает его обратно в кресло:

— Пап, я больше никогда не хочу тебя видеть.

Спускаюсь по лестнице быстро, не оборачиваясь. Шагов сзади не слышно. Подходя к калитке, я не оглядываюсь. Лишь прыгнув в машину, через приоткрытую калитку бросаю взгляд на окно второго этажа. Из окна никто не смотрит.

7

К маме я сегодня не еду. Во-первых, уже вечереет, и приемные часы закончились. Во-вторых, я отключаюсь прямо в машине, и водителю — этому молчаливому, невидимому аристократу — приходится даже несколько раз похлопать меня по щеке, чтобы разбудить. Я открываю глаза и не сразу понимаю, где я. Сумерки, детский шум, машина. Мы во дворе бабушкиного двора. Когда картинка сопоставляется с прошлым, я бурчу водителю слова благодарности и вылезаю из машины. Тело затекло, голова кружится. Я вваливаюсь в квартиру, как зомбак. Лизка еще не спит и оповещает из своей комнаты о моем прибытии. Бабуля выходит из своей комнаты и с беспокойством, но молча смотрит на меня. Я разуваюсь. — Есть будешь? — спрашивает бабуля.

Я не отвечаю, доплетаюсь до своей комнаты, обнаруживаю там расстеленную еще с утра кровать и падаю. Именно падаю — позади вскрикивает бабуля. Я просплю до следующего вечера и опять не успею к маме. Телефон высветит несколько новых сообщений от Кармен и пропущенный от Лены. «Тут бай» и остальные редакции молчат. Папа тоже.

Блекло-малиновое платье в горошек, нашивка с фамилией и номером на груди, миниатюрность фигурки и морщинистость лица — я не сразу узнаю свою маму. Она обнимает сначала меня, потом мужа. Меня она обнимает дольше. Мы усаживаемся в беседку на прогулочной зоне ИК-4. Колония выглядит как совдеповский военный санаторий, только огорожен высокими кирпичными стенами с колючей проволокой. По прогулочной зоне бредут еще несколько платьев в горошек.

— Как дела? — спрашивает у меня мама. — Выспался?

— Всё хорошо, — киваю я. — Как ты?

— А что я... Как видишь...

— Чего трубку не брала? — спрашивает Евгений, глядя то на скамейку, то искоса на маму.

Он высокий, тонкий, с острыми чертами и вялой, серой манерой.

— Чем занималась?

— Заказ срочный, — мама поправляет платье. — Сто пятьдесят фуражек

за смену. До ночи с цеха не вылазили.

— С цеха? — спрашиваю я с любопытством. — Вы тут шьете?

— Как Германия? — переводит тему мама. — Как на работе?

— Нормально, — говорю я. — Вы шьете фуражки?

— Для военных. И не только для них. И не только фуражки.

Я поджимаю губы. Факт того, что в женской исправительной колонии могут чем-то заниматься, помимо отсидки, успешно пролетел мимо моей логики.

Я вглядываюсь в маму. У нее усталое лицо, тонкие ручки, дрябловатые ножки. Она какая-то задумчиво-спокойная — мама всегда была такой, но в обычной жизни ее спокойствие чередовалось с живостью, элементарными эмоциональными всплесками вроде смеха, раздражения, недоумения, заботы, радости. Как у всех людей. Сейчас же ее лицо ровное, словно линия горизонта. Как будто уже ничто ее не всколыхнет, и она сейчас не в исправительной колонии, а в монастыре.

Эта маленькая, короткостриженная женщина в горошковом платье — моя мать. Мошенница. Одно с другим совсем не вяжется.

— Какие планы? — спрашивает мама.

Я пожимаю плечами.

— Отдохну, с Лизкой поиграю. Может, в школу свою зайду...

— А потом? — мама прекращает возиться с платьем и поднимает на меня взгляд. — Когда назад?

Я качаю головой. Мама поднимает брови:

— Это что еще значит?

— Я не поеду в Германию. Останусь тут.

— Глупости какие. А работа?

— Уволюсь.

— Зачем?

— Я хочу быть рядом с семьей.

— Сын, ты мне ничем не поможешь. Я ценю это, но езжай лучше в Германию. Мне так спокойнее будет.

— А мне нет.

Мама просит Евгения оставить нас. Тот достает телефон и присоединяется к бредущим по прогулочной зоне платишкам. Его желтая майка дерзко отливает на солнце, лишая все бледно-малиновые пятнышки вокруг малейшего шанса на внимание.

— Ты разговаривал с отцом?

Я киваю. Мама хмурится и вздыхает.

— Не вини его. Он просто делал свою работу.

— Ты говоришь, как он.

— Это правда, сын. Я совершила преступление.

— С тобой могли обойтись мягче.

— Нет, не могли. Я получила по заслугам. Хорошо, что хоть Женя на свободе, зря я ему про деньги рассказала.

— Он хотел как лучше.

— Он дурак, этот Женя! И я дура. Про Лизку надо думать. Ладно я, но если бы еще и его загребли... Спасибо твоему папе.

Я морщусь. Не оттого ли, что передо мной чистый, честный человек, который обращается с отцом лучше, чем я? Мерзко оттого, что ей он сделал больнее.

— Сын, езжай в Германию, — говорит мама, глядя на меня с мольбой, — мы тут справимся. Это мой крест, я не хочу еще и тебе жизнь ломать. Едь туда...

— Мам...

— Что мам? Нечего тебе здесь делать. Нет здесь работы. И не говори мне, что я как папа! Да, я как папа. Потому что он прав! Потому что мы хотим, чтобы ты был счастлив и всё у тебя было хорошо! Здесь будет только хуже.

— Я мог тебе помочь. Если бы я только знал...

— Нет, сын, не мог бы. Ты не виноват. Поезжай. Поиграй с Лизкой и езжай. Мне... — мамины глаза краснеют, она открывает рот, чтобы что-то сказать, но осекается. Закрывает ладонью глаза, всхлипывает.

— Мам, — испуганно говорю я и обнимаю ее. — Мам, ма-а-ам, не плачь, мам...

Желтое пятно подплывает к беседке. Мама машет ему рукой, мол, отойди, потом поговорим. Пятно ретируется.

— Ты приезжай потом, сын, — говорит мама с надломом, — потом, с невестой, ну, если будет. Я скоро выйду, пару лет потерпеть. Я всё сделаю, буду тише воды, всё сделаю и выйду, обещаю... Только не сейчас... Потом приезжай...

Она прячет свое лицо. До меня доходит, и прозрение это режет в самое сердце: она не хочет, чтобы я видел ее здесь, такой. Каждый мой взгляд на нее тут, каждый мой визит сюда, каждый мой вопрос в этом месте для нее — мука. Она хочет быть и оставаться для меня только мамой. Она хочет, чтобы я помнил ее только так. Здесь она мошенница, уголовница, и тот факт, что теперь это часть ее образа — в моем представлении — вот наказание, которого она действительно боится и которое переносит особенно тяжело. Я нужен ей, моя забота нужна ей, моя новая семья и счастливая жизнь нужны ей — она порадуетя всему этому, но лишь тогда, когда покинет эти стены. Я делаю ей больно каждым днем пребывания в Речице — я ломаю себе жизнь, которую — как и папа, но не в такой радикальной степени — она желает для меня в Германии. Абы не тут.

— Ввалю этому деду с бабой, — всхлипывая, шепчет она злобно. — Говорила же, не рассказывайте. Нет, рассказали, еще и приперся. Езжай, сын. Я рада тебе, но... Нет, не сейчас. Всё хорошо. Мы справимся, всё хорошо. Езжай... Ее реплика как роспись под каждым моим предположением. Желтое пятно аккуратно, невзначай подплывает к нам с платком в руках. И я, и мама замечаем Евгения, но уже не отгоняем его. Всё сказано, и лучше мне теперь не задерживаться здесь ни на минуту. Я оставляю маму с мужем наедине. Они говорят недолго. Потом мы еще раз обнимаемся и мама смешивается с другими блекло-малиновыми платьями. Пора снова шить стране фуражки.

Еду с Евгением на маршрутке до Речицы. Оба молчим. Сколько боли я принес родителям за пару дней? Или просто комплекс вины по инерции срабатывает?

В пропущенных висит звонок от Лены. Палец тянется нажать на вызов, но рядом сидит Евгений. Прячу телефон в карман.

Во дворе бабулиного дома стоит черный BMW. Водителя нет, номеров я не запоминаю, но сразу понимаю, что это тот самый BMW. Нет, отец ко мне не приехал. У него абонент временно недоступен.

Лизка играет в «дачника». В дощечку с дырочками — «грядку» — «сажает» морковь, капусту, расставляет по краям грядки забор. Бабуля готовит на кухне ужин, дед смотрит телевизор. Только Евгений сидит со мной и Лизкой в комнате, спрятавшись в телефон. Он молчит и похож на кусок серой тучи.

— Почему вы не забираете Лизку к себе? — спрашиваю я у него.

— Работа, — бубнит Евгений, не отрываясь от экрана.

— А по вечерам? — не сдаюсь я. — Разве вы не можете с ней ночевать? Почему она остается у нас?

— Мне завтра на работу, — говорит Евгений, поднимая на меня взгляд. — Мне выспаться надо. Я работать должен.

— Мама как-то ухитрилась совмещать, — я пожимаю плечами, — и работу, и Лизу по ночам, и завтрак-обед-ужин для вас. И вы можете.

— Нет, — отрезает он.

— Но почему?

— Андрей, — Евгений откладывает телефон и раздраженно, словно маленькому ребенку, отвечает: — Мне надо работать. Мне надо зарабатывать, чтобы у Лизы всё было. Это самое важное!

Лизка разматывает всю грядку и берется за мозаику. Кусочек за кусочком проступает картинка зайчонка с мешком яблок. Пары деталек не хватает. Лиза встает и ходит по комнате в поисках кусочков.

— А куда вы дели все деньги, свои, мамины и за квартиру, когда они у вас

были? На Лизу?

Я говорю простым, обывательским тоном, но на Евгения реплика действует как пощечина. Он вспыхивает.

— Я сделал всё, что мог, — зло говорит он. — Я защищал твою маму. Больше ведь никому.

Вот это он отжег. Я наступил на больное место.

— И как, защитили? — спрашиваю я, заглядывая ему прямо в глаза.

Ноздри у Евгения раздуваются, но он сидит не шелохнувшись.

— Евгений, я ведь не с претензией. Просто понять не могу: вот сидит Лизка, вот рядом вы. Мамы у нее года два точно не будет, только вы да бабушка с дедушкой. Но почему вы не играете с ней? Почему не берете ее к себе? Почему вы вообще не здесь?

— Зяй, — пищит Лиза, показывая мне пальцем на мозаику, — кусёчка нету..

Я заглядываю под кресло и обнаруживаю там недостающие пазлы. Вытаскиваю их, отдаю Лизе. Та достраивает картинку и хихикает.

— Лиза, будем мультики смотреть? — спрашивает Евгений и берет телефон.

— «Ну погоди» или «Леопольда»?

— Польда, — говорит Лиза и забирается на диван.

Я встаю, подхватываю ее и усаживаю обратно на ковер. Лиза издает «у-у-у», Евгений смотрит на меня, как на идиота.

— Поиграйте с ней, — говорю я. — Хватит за мультики прятаться. Поиграйте с ней, вы же папа! Уделите ей время!

— Мультика, — пищит Лиза.

Евгений победно поднимает бровь, мол, видишь, она же мультики хочет, я прав.

— Вам тяжело сесть на ковер? — не унимаюсь я. — Тяжело поковыряться с ней в «грядке», побросать ей мячик? Вы хоть знаете, что ей нравится? Чем она живет?

— Мультика, — топает ножками Лиза.

Евгений забывает о моем существовании и включает на телефоне мультик. Малышка снова забирается на диван. Отец берет валяющийся под ногами мягкий кубик и пристраивает на него телефон. Идиллия. Только я знаю, во что это вырастет. И в кого она вырастет. Ну уж нет.

— Лизка! — кричу я громко, чтобы она отвлеклась на меня. — Давай в догонялки? Догонишь нас с папой? Папа, выключай мультики, давай убегать от Лизы! Ну же, папа!

Обоим идея не нравится. Я продолжаю свои зазывалки, упрямо отвлекая то Евгения, то Лизку.

— Выключите мультики и возьмите меня за колени! — приказываю я папе.

— Ну же, смелее! Побудьте хоть пять минут отцом! Докажите! Докажите мне и ей, что вы отец!

Я перегибаю, но мне уже всё равно. Лучше перегнуть сейчас, чем потом...

Не срабатывает. Оба заворуженно слушают песенку кота Леопольда.

— Дед! — кричу я. — Де-е-ед!

— Оу!

— Иди сюда! Поиграем с Лизкой!

Пока он шаркает в сторону нашей комнаты, я успеваю сходить на кухню и достать из холодильника уже застывший киндер-сюрприз.

— Лиза! — кричу я, вернувшись в комнату, сестра поднимает на меня взгляд. — Смотри, что у меня есть!

Я показываю ей киндер. Она улыбается.

— Давай за нами на кухню! Дед, бери меня за колени! Бери, как в детстве!

Дед вспоминает, о чем речь, и берет меня за колени. Я держусь на руках. Киндер аккуратно зажимаю в зубах.

— Мы попалжи! — шепелявлю я, Лиза смеется. — Иджем, Лизка! Иджем ещц киндер!

Дед пятится на кухню, я топаю руками по полу. Лиза визжит и бежит за нами. Дед чуть ускоряется, я дразню Лизку. Наша веселая процессия добирается до кухни. Там нас с улыбкой встречает бабуля. Евгений следом не идет.

— Ура-а-а! — кричу я. — Ты нас догнала! Держи киндер!

Лизка хватает свой приз и расколупывает обертку. Какую-то минуту спустя сестренка, вся измазавшись, расправляется с шоколадом и протягивает мне пластиковую коробочку из «киндера». Я открываю коробочку и достаю из нее какой-то фиолетовый попрыгунчик.

— Ух ты, фигня какая! — говорит дед. — Давай лучше полетаем! Полетаем, да, Лиз?

И, не дожидаясь от нее согласия, которого и не требуется, ибо Лизке безумно нравятся такие «полеты», дед подбрасывает ребенка несколько раз над собой. Сестра почти долетает до потолка, но страха в глазах нет: только восторг, чистый и заразный.

— А с папой летаешь? — спрашиваю я ее и, дождавшись резвого «да-а», зову папу.

Евгений приходит на кухню. Он хмурый, но дочке немного улыбается. Молча берет и аккуратно подбрасывает.

— Сильнее, не бойся! — гудит дед. — Не стукнется!

— Ой, не слушай его, — говорит бабуля Евгению. — Нашелся тут диспетчер!

Дед с бабулей бурчат друг на друга, а папа аккуратно подбрасывает визжащую от радости дочь. Когда он возвращает ее на землю, Лиза показывает ему свой фиолетовый попрыгунчик и запускает его прямо папе в лоб. Новая порция детского восторга. Евгений поднимает попрыгунчик и протягивает его дочери. И снова та метко пуляет его в нос папе. Лизка

хихикает. Евгений улыбается.
Так-то лучше.

8

До моего увольнения в Кёльне остается два дня. Кармен бомбит меня вопросами о том, взял ли я билет, когда меня встретить и как дела в семье. Я честно признаюсь, что не взял билеты и что вряд ли приеду. Кармен в шоке и накатывает мне длинные аргументы о том, почему я должен вернуться. Я отвечаю, что здесь моя семья и мне надо быть с ней. Кармен не понимает. «В конце концов, я тебя жду», — пишет она и замолкает. Почему у меня вдруг теплеют щеки?

Евгений начал забирать Лизку к себе по вечерам. Добавить здесь нечего.

Я плохо сплю по ночам. Думаю то о папе, то о маме. За день до увольнения я беру билеты в Германию. Пытаюсь объяснить себе причину собственного поступка, но не могу. Мне кажется, что мной движет то воля родителей, то здравый смысл, то страх потери стабильности, или же я просто делаю, чтобы хоть что-то сделать. Итог один.

В день отъезда я вспоминаю о том, что так и не перезвонил Лене. Собираюсь было набрать ее номер (авось у нее сейчас будет время), но кто-то звонит мне पहले. Я поднимаю трубку. Это редакция «Тут бая». Я с ходу опровергаю любую возможность встречи касательно инцестовых слабостей отца, потому что это был фейк и я просто хотел привлечь к себе внимание. Но редакция звонит не за этим. Ей нужен мой комментарий.

— Сегодня суд рассмотрел апелляцию юриста вашей матери.

— Какую апелляцию? — спрашиваю я, сердце добавляет темпа.

— Касательно улик, по которым ей дали семь лет. Отягчающие обстоятельства. Взятка для прокурора.

— И?..

— Экс-прокурор сегодня утром заявил о том, что выдал конфискованную часть сбережений начальника «Речицаторф» за сбережения вашей матери. Он договорился с мужем вашей матери, муж перезвонил ему и якобы предложил взятку. Евгений уже подписал показания о том, что взятки не было и что его заставил...

— Экс-прокурор?

— Да, он самый. Сегодня официально вышел в отставку. Он оставил показания для суда в письменном виде.

— Когда был суд?

— Только что закончился. Вашу мать отпустят по условно досрочному. Вы верите, что экс-прокурор...

Я больше не слушаю. Сбрасываю вызов, врываюсь к бабуле на кухню и ору ей новость. Звоню деду на работу, звоню Евгению. Через несколько

минут уже сама мама нам перезванивает. Она приезжает вместе с мужем, дедом и Лизкой на такси через полчаса. В доме переполох. В одночасье накрывается стол, полный гарниров, закусок и напитков. Мама подходит ко мне и требует, чтобы я прямо сейчас, при ней, взял обратные билеты в Германию. Я сообщаю ей, что сегодня должен был вылетать, но раз такой день, я, пожалуй...

— Нет, нет, нет! — отрезает мама. — Потом приедешь. Живо дуй туда, пока не уволили. Тебя же не уволили? Завтра? Ты что, сдурел, что ли? А ну живо отсюда, чтобы в Кёльне отписался! Увольняться он собрался!

Меня буквально выпихивают с вещами из квартиры. Мне следовало обидеться, но в душе весело и казачки пляшут. Лизка машет мне ручкой и вышлепывает губами что-то, похожее на «па-ка». Я машу ей в ответ, улыбаюсь и закрываю дверь.

Я на вокзале. До поезда два часа, остается последняя возможность хотя бы перезвонить Лене. Но вновь неведомая сила меняет планы. Набирая Ленин номер, я продвигаюсь через толпу в сторону зала ожидания. Вдруг я в кого-то врезаюсь. Поднимаю глаза и... Замираю.

Водитель черного BMW. Он молча протягивает мне сверток. Как только я его беру, он разворачивается и смешивается с толпой. У меня ёкает в груди. Этот сверток не к добру, и лучше разобраться с ним прямо сейчас. Отхожу к ближайшей скамейке и разворачиваю сверток. О нет.

Внутри две рамки. В одной — пригласительное письмо от моего немецкого вуза, под стеклом второй красуется страница из моего старого паспорта с немецкой визой. Здесь же — магнетики из Пассау, Берлина, Кёльна, все открытки, сувениры, безделушки, которые я ему привозил или он мне показывал. Самые дорогие папе вещи. Почему он мне их отдал?

Экс-прокурор оставил письменные показания для суда...

В горле собирается мерзкое ощущение. Нет, нет, только не думай об этом, это паника...

Сегодня он официально вышел в отставку...

Я лихорадочно набираю номер отца. В висках стучит, щеки горят. Абонент недоступен. Что это значит? Что, черт возьми, это значит?

Ищу в толпе водителя BMW. Никого. Нигде. Бросив чемоданы, бегу на ближайшую парковку. Вокруг только таксисты, маршрутки, «ниссаны» и «тойоты». Я бегу вдоль машинных рядов, уже даже не разбирая, кто, что и где, просто чтобы бежать, на одной слепой надежде, что сейчас он мне попадется. И — о чудо! Я вижу этот чертов BMW. Он приближается к оживленному перекрестку. Один поворот — и он исчезнет. Как бешеный, я несусь ему наперерез. Слишком большое расстояние, он еще и на вторую полосу перестраивается. Теперь его прикрывает целая колонна машин. Светофор горит красным, цифры отсчитывают последний десяток секунд. Грудь сжимается, душит легкие, я добегаю до проезжей части. Момент

— вырываюсь на дорогу. Машины яростно вопят и со скрежетом притормаживают. Я каким-то чудом огибаю чуть не вписавшегося мне в бок «пежо» и в один прыжок оказываюсь перед BMW.

— Папа! — кричу я и стучу в заднее окно. — Папа!

Сзади никого нет. Я перебегаю к водителю, стучу ему. Он опять играет в гребаного аристократа, игнорирующего всё живое в радиусе метра.

— Эй! — я стучу в окно со всей дури. — Эй! Где он? Что с ним случилось?

Светофор загорается зеленым. Соседний поток трогается. Водитель переклюкает скорость. Я бью кулаком в стекло. Алая струйка обрызгивает стекло и рикошетит мне в лицо. Я стискиваю зубы от боли. Рвусь вперед, чтобы загородить водителю путь, но вдруг он переводит на меня взгляд.

— Где он? — кричу я водителю. — Что с ним? Где папа?

Взгляд водителя — сочетание презрения и жалости. Его рот плотно сжат, на шее проступает вена. Он медленно качает головой. И давит на газ. Я инстинктивно отступаю. Поток машин за ним ревет, смешиваясь с крепким матом. Я ковыляю к первой полосе, рев и матюки превращаются в сплошную звуковую волну. Больше ничего не слышно. Выбираюсь на проезжую часть. Если бы не ноющая рука, с которой кровь стекает уже не каплями, а тоненькой струйкой, я бы забыл про время. Поезд отходит через час-пятьдесят семь. Я чуть не забываю про чемодан.

Стюардесса в третий раз подходит ко мне и спрашивает, всё ли в порядке. Я говорю, что в порядке. Стюардесса протягивает мне бумажную салфетку. Я хмурюсь, непонимающе смотрю на нее, и она достает маленькое зеркальце. У меня зареванное лицо.

Пока мама в тюрьме, я буду здесь, в Речице.

Так я ему сказал. Я даже не хочу разбираться, правда его показания или ложь. Это уже неважно ни мне, ни ему. Главное — он сделал это. Он сделал так, чтобы меня здесь ничего не держало, чтобы я вернулся в Германию. Даже не стал говорить со мной — опять же, как я и заказывал. Джинн, а не отец.

Неужели — Господи, почему так тяжело сказать это себе, даже в мыслях — неужели он и вправду любил меня?

Стюардесса подходит ко мне вновь и протягивает пачку салфеток. Я киваю ей, не в силах даже улыбнуться.

У тебя еще будет своя семья. Там.

Я скулю. Внутри эхом отдает мысль, что я так и не перезвонил Лене.

В аэропорту меня встречает Кармен.

АННА ГАВРИЛЬКОВА



КРотовые норы
БУТОН



Анна Гаврилькова

16 лет, Минск
hannahaurilkova@gmail.com
+375447466369

Кротовые норы

Понять не могу одного: кто только решил, что я должен простаивать день за днем в этом неказистом ресторанчике в компании своих новоспеченных коллег-истеричек и исполнять ненавистный мне джаз?

А ведь никто не спросил меня. Сказали только, что я слишком стар. И теперь, вместо сотен восторженных глаз, я довольствуюсь вниманием какого-нибудь мсье, который, не прекращая жевать, лениво переводит на меня взгляд, лишь бы не слушать даму, сидящую напротив и вопящую что-то крайне важное. Этот неприятный мужчина время от времени с важным видом потягивает вино, однако далеко не лучшее — не разбирается. Он жадно наворачивает огромный кусок воловьего мяса. Спутница либо не живет с ним, либо совершенно не умеет готовить. А может, и то, и другое.

Конечно, я упирался, скрипел — да только никого это не волновало. Всё же я стою здесь и, по приказу высокого худощавого парня в поношенном дешевом костюме, распеваю гимны гуляк.

На самом деле, это далеко не первое злачное место, где я услаждаю слух фанфаронов и кутил. Я сменил их уже множество, и снова стою в заведении, ничуть не лучше предыдущего. Этот ресторан, или скорее закусочная, притаился в небольшом трехэтажном доме, в ряду кофеен и разного рода магазинов и носит название «Trou de taure», что кажется мне ироничным, когда я наблюдаю за его завсегдатаями. Всё же это наводит тоску. В чем смысл движения, если ты лишь пешка в руках кого-то недостижимого, невидимого глазу? Пешка, каждый следующий шаг которой уже предопределен кем-то. И кто-то, но уж точно не ты, решает, падешь ли ты во имя всеобщего блага или обратишься в ферзя. Увы, чаще мы становимся жертвами на этой шахматной доске, лишенной правил. Остается лишь надеяться, что руки бестелесного игрока направляют тебя к королевской горизонтали.

Костлявые руки моего «игрока», который прямо сейчас бурчит что-то о моей приближающейся смерти и бесполезности, не дают таких надежд. Под его руководством я подаю хриплый голос. Соучастницы нашего хромого оркестра отчаянно пытаются меня перекричать. Неладный джаз, запах дешевого парфюма и мяса — безукоризненное сочетание.

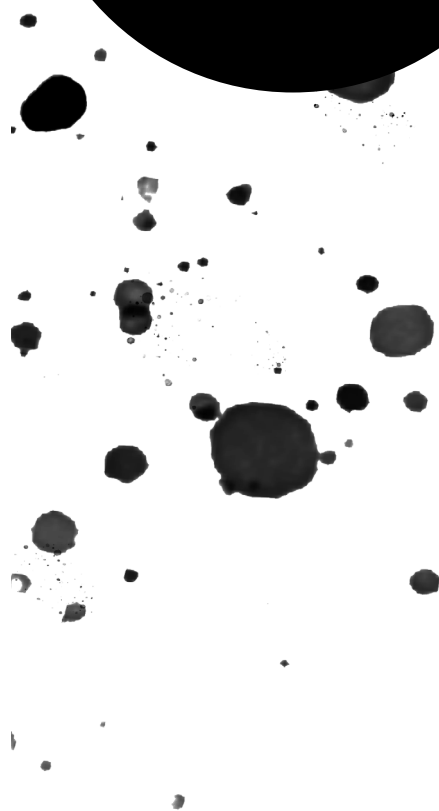
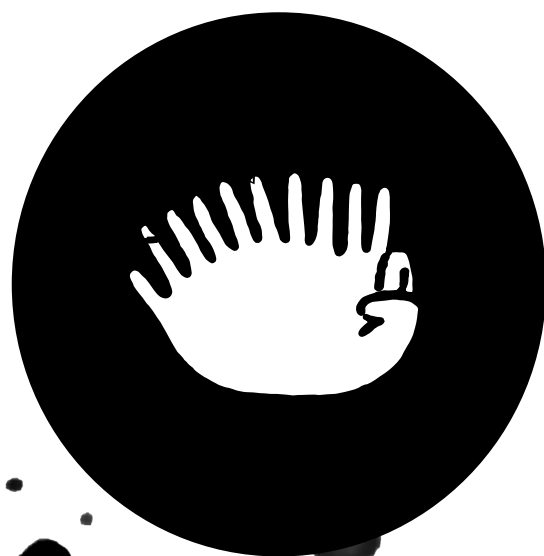
По правде, я и не заметил, как это произошло. Как с большой сцены я спустился в эти норы. Вдруг мне становится страшно. Не только минуть славы — вся жизнь утекает сквозь пальцы. Мы бродим по ней слепые, словно кроты, мы мечтаем и вспоминаем о прошлом, а прозрение приходит, лишь когда вся жизнь, та самая насыщенная и красочная, растворяется, будто мираж. Я каждый день вижу людей, которые заливают жизнь алкоголем, еще более растворяя ее, словно кислотой. Они не ценят ее. Может они и правы. Имеет ли она ценность, если ее нельзя ощутить?

Я чувствую, что обрел огромный опыт, наблюдая за простыми людьми, за большинством, о котором не любят писать. Почему же я жалею о пребывании здесь? Да потому, что я совершенно не способен использовать это. Мой голос красив но совершенно бесполезен, я пою, но я нем для них. Я знаю так много о людских взаимоотношениях, но никогда не смогу почувствовать, что чувствуют они. Могу лишь со стороны удивляться, восторгаться и испытывать отвращение, я певец с отсеченным языком, и всё же жду, когда меня услышат.

Я забежала в небольшой ресторанчик, чтобы укрыться от дождя. Как оказалось, не самый хороший. И место я выбрала не самое хорошее: господин за соседним столиком никак не дожует свой антрекот, которым пропахло всё вокруг, в том числе вся моя одежда, а женщина за тем же злосчастным столом своими воплями едва ли не заглушает рояль. А тот, кажется, так хочет внимания. Гордо выставил изгибы черного каркаса и красуется золотой надписью над клавишами — что-то по-немецки. Кажется, он хочет донести нечто бесконечно важное. Но, черт побери, это всего лишь старый рояль. Он фальшивит, а то и вовсе не отзывается на удары своего приказчика-пианиста, будто выражая протест. Я всё больше воображаю о послании немецкого инструмента. Неверное, лишний бокал вина ударил мне в голову. Слушать это становится невыносимым, словно последние хрипы умирающего. Дождь обещает прекратиться, и потому я спешно расплачиваюсь и направляюсь к выходу, ловя стихающие стоны рояля, что так не вяжутся с томными распевами саксофона. Я так и не поняла, почему меня так встревожил этот расстроенный инструмент.

Бутон

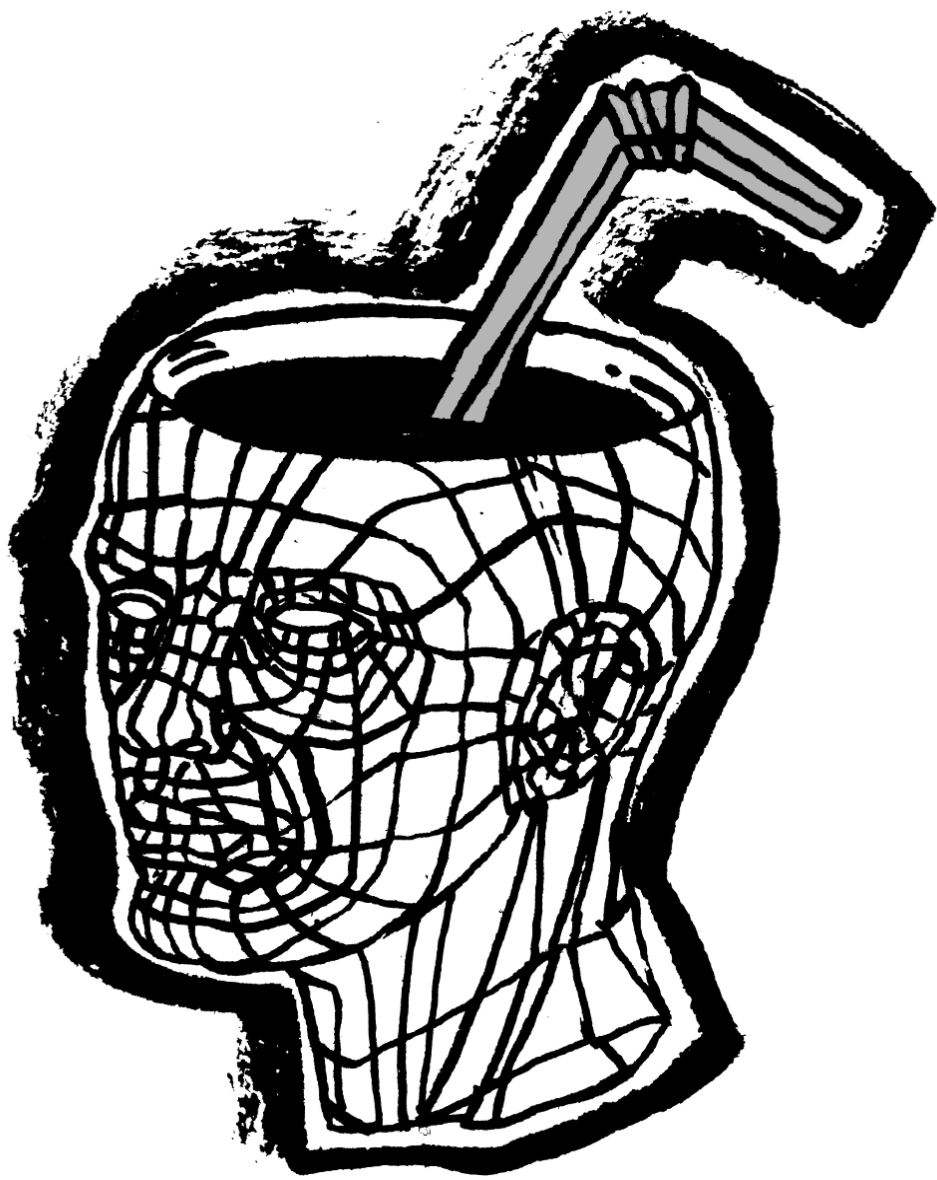
Ветер сорвал лепесток и бросил на землю — ему не место среди нормальных лепестков. Он пытался взлететь, но был растоптан и никогда больше не поднимется в воздух, он приклеен к земле своим собственным соком. Забавно, сколько общего у Ионаса и лепестка под его ногой. Возможно, выбирая имя, родители надеялись, что он действительно когда-нибудь вырастет гордым и свободным, как птица. Но почему из года в год он остается всё тем же никчемным лысым птенцом? А может, он и не никчемный. Ведь раньше казалось, что он тоже часть этого большого бутона. Но нет, нормальные диктуют свои правила, и, если ты не вступишь, они придавят к земле, растопчут, выжмут весь сок и выбросят. И ведь спорить нет смысла: предрассудки обвинили нашу шею и грудь и не дают сделать ни глотка здравого смысла. Мы правы, ты не сомневайся, серьезный дядя из ящика сказал, что мы нормальные, а ты — никчемный птенец. Но не переживай, мы вылечим: гипноз, терапия, народная медицина, экзорцизм в конце концов! А если уж и это не поможет — придавим, растопчем, выбросим... Из-за таких, как ты, человечество вымрет. Ну, а на благо человечества и растоптать не грех! Ты хотя бы сиди тихо да не высывайся, не разноси ты это. Сиди тихо... Тихо... Да, нужно быть тише. Вдруг узнают? А что, если не примут? Растопчут, выбросят... Тайна, нужно сохранить тайну, нужно спрятать это и запереть. Ты никчемный лысый птенец, все так сказали. Нет, не так. Самые близкие сказали, что ты никчемный. Они-то врать не будут. Если бы я только смог летать... Если бы я мог, я бы поднялся так высоко, как не поднимались они. Я бы поднялся, сложил крылья и доверил свой полет в единственном направлении силам притяжения, ведь я только никчемный лысый птенец.



АННА САВИЦКАЯ



ДРУГ ЛЕНЫ



Анна Савицкая

18 лет, Минск
ha.savitskaya@gmail.com
+375447761932

Друг Лены

Жизнь одной моей хорошей знакомой Лены, работавшей учителем обществоведения, была довольно обычной. Скучной. Серой. Она иногда путешествовала по горячим путевкам, иногда в одиночестве пикировалась в баре, после чего пыталась уйти с Октябрьской так, чтобы не быть замеченной своими учениками, и иногда работала на удаленке, где постоянно немного пропускала дедлайн. Но вернемся к Октябрьской: я совершенно случайно попала на эту злополучную улицу. Если бы не желание побыть среди людей, но ни с кем не контактировать, не победило, меня бы там не было, но и такому простому желанию не суждено было сбыться — там я встретила Лену. Особенность ее была еще и в том, что она выглядела так, будто вышла из книг Франца Кафки — чего только стоило серое длинное пальто, которым она подметала все лужи на своем пути. Дети, которых Лена учила, не читали Кафку, но если бы прочли, поняли бы многое. Как я уже сказала, Лена вышла из его книг — и вышла прямо ко мне. И выглядела сегодня она еще более грустно, чем обычно. В такие моменты хочется уйти, но оставить грустную Лену на радостной улице я не могла — мы пошли в «Ў-бар» взять «демократичное вино», то есть единственное, которое могла позволить себе учительница, и поговорить.

— Мы сидели на берегу Дуная, и там, около реки, я впервые подумала: я сильно привязываюсь, и это плохо. Конечно, до абьюзивных наших отношениям еще далеко, но вот созависимыми их назвать вполне можно. Не стоило ехать сюда вместе. Я грустно смотрела на него, и понимала, что это надо закончить, — Лена очень издавна начала рассказ, и начала его с того, что уже удивляло — она поехала в Будапешт с кем-то, а не одна. — Но сначала надо было закончить дедлайн, что я и делала в этом Старбаксе. До этого я много думала, что нужно сделать всё до поездки, но не сделала. Он, конечно, смотрел укоризненно, но помогал чем мог. А потом вдруг замолчал. Прошло немного времени, он будто отдышался. «Всё хорошо» — «Да». Знаешь, мысли о расставании отошли на второй план — ему ведь плохо, как я могу его бросить.

Лена смотрела на меня, не отрывая глаз. Только сейчас я заметила, что

она не просто грустная — скорее всего, она плакала. Как человек, который плохо переносит чужие слезы, я запаниковала и начала придумывать, что надо ответить, но ее, кажется, не волновал мой ответ — Лене надо было выговориться.

— В следующий раз это произошло в поезде Вильнюс–Минск. Опять он напротив, опять те же мысли: «Нужно просто прекратить». Сейчас даже внешне заметно, что ему плохо, он изменился внешне, стал более заторможенным, что ли. Он то ведет себя нормально, то будто утыкается в окно и зависает, — Лена закуривает, до этого, кажется, она не курила, даже во время самых больших нервных переживаний. — Мне говорили, что жалость — ужасное чувство, но сейчас я его жалею, вспоминаю время, когда всё было хорошо. Оно, кажется, пронеслось так же быстро, как сейчас проносятся те домики за окном. Наверное поэтому не могу просто отпустить. В конце концов, мне не позволяет совесть — он всегда последний, кто остается со мной в моменты, как этот. Когда я нервная и доделываю дедлайн, он всегда магическим образом оказывается здесь и помогает, на самом деле, больше всех, чтобы я их сдала.

Пока Лена говорит это, я повторяю про себя, как мантру: «Придумай, что сказать, если этот человек умер, придумай что сказать...» Кроме этой фразы, я ничего пока не придумала, а Лена всё продолжает:

— Вчера он умер. Знаешь, я думала мне будет не жалко — он раздражать меня начал. Он постоянно издавал непонятные звуки, мне приходилось бить его по кулеру, чтобы стало тихо. Но нет...

В картинку, как минимум, последних кадров с Василием Игнатенко из «Чернобыля» от НВО врывается что-то неприятное. Лена всё это время водила меня за нос.

Я подняла на нее глаза, а она продолжала и продолжала рассказывать о том, как ходила в сервисный центр, в дом быта, на Жданы за деталями ездила, и всё это — зря. Лена, кажется, сильно переживает, по крайней мере, у нее дрожит голос. Самое неприятное здесь — она оплакивает компьютер. Свой ноутбук, которому, кажется, лет было больше, чем нам обоим, который должен был сломаться еще три года назад. Лена начинает не то чтобы пугать меня, а вызывать еще больше жалости — она ведь плачет не из-за того, что там было что-то важное, а просто из-за факта поломки ее друга.

Ее друга.

Тут становится очень неприятно — воспоминания, как я думала о том, чтобы перейти дорогу на другую сторону, чтобы не встретиться с Леной, накрывают. Я даже не знаю, что сказать ей. Так неприятно,

что в ее голове сплелось так много, что она привязалась к компьютеру так, как к человеку, но самое страшное, что она размышляла о его смерти, как о смерти человека.

Я глупо смотрю на небо. Мне хочется сказать Лене так много. Хотя бы то, что когда мы умрем, то может быть что угодно. Можно попасть в рай, можно в ад, можно реинкарнироваться, можно в царство Аллаха попасть, что угодно может произойти, точно сказать нельзя. Но скорее всего после смерти не будет ничего. Если она сейчас попробует представить небытие, то, скорее всего, это будет темнота без звуков, без мыслей, без чувств. Но на самом деле это нечто иное, это сплошное ничто, отсутствие сознания, отсутствие хотя бы чего-нибудь. Скорее всего, она не сможет себе этого представить, потому что нормальная психика блокирует такие мысли, это очень сложно почувствовать. Но я, кажется, если не чувствую, то в данный момент хотя бы примерно представляю себе, что это такое.

И это очень страшно. Это вызывает какую-то тяжесть в груди, панику, очень неприятно. Мне сейчас 20, я проживу еще в лучшем случае лет 60, а потом — ничего. Не будет никакой иной жизни, не будет другой молодости, не будет другого тела, я почти потратила свою молодость, родилась и, скорее всего, проживу всю жизнь в «здесь», я никогда не рожусь сыном миллионера или американской девочкой, которых я видела в фильмах в детстве, у меня есть только то, что я имею сейчас. А потом не будет ничего. И это грустно. Кажется, я начала бояться смерти, а Лена сравнивает смерть — считай, мою или ее — и поломку черного ноутбука, и я даже не знаю, что из этого хуже всего... Я хочу сказать так много. Но я ничего не говорю.



ИГОРЬ КОРОТКОВ



ДЕНЕЖНЫЕ ПИРОЖКИ



Игорь Коротков

31 год, Минск
kniazigor878@gmail.com
+375292113086

Денежные пирожки

Пару лет назад я активно занимался восточными практиками, вращался в эзотерических кругах и общался с очень оригинальными персонажами. Со временем центробежная сила этого вращения сместила меня на орбиту более типичных интересов, однако же и сейчас я всегда рад встречам с необычными людьми. Ведь в итоге жизнь становится набором историй именно с их участием. И вот одна из них.

Однажды к нам в офис забежала вахтерша и, придерживая дверь открытой, попросила кого-то зайти. Невысокая человеческая фигура с внушительной картонной коробкой в руках, закрывающей обзор, протиснулась в дверной проем и зашла в комнату. «Знакомьтесь, это Виктория», — сказала вахтерша, указала на свободное место рядом со мной и спешно удалилась, как будто никаких других пояснений не требовалось. Я поспешил на помощь человеку-коробке. Нагружая себя чужим увесистым скарбом, я рассмотрел незнакомку подробнее. Подростковая фигура, прямое платье и скатывающиеся с плеч рыжие волосы делали ее похожей на диснеевского персонажа. А чуть запыхавшаяся от переноса тяжести открытая улыбка делала ее вид немного забавным и располагающим. Я донес коробку до рабочего места, помог разложиться и подключить ноутбук. Помимо ноутбука в ее личных вещах значились денежное дерево в горшке, плакаты с иероглифами неизвестного смысла и миниатюрная железная фигурка трехпалой жабы с монетой во рту. «Нам будет о чем поговорить», — подумал я, глядя на всё это суеверное великолепие. Так оно и вышло.

Опуская подробности нашего знакомства и первых дней общения, скажу, что мое предположение полностью подтвердилось в дальнейшем: Вика оказалась поглощена эзотерикой. Однако поглощена достаточно однобоко и поверхностно: ее интересовали сугубо идеи материального обогащения. Веря в джек-пот и отвергая планомерное накопление, она не жалела средств на амулеты, талисманы, коучей по правильному мышлению, заговоры на привлечение материального благополучия, рассматривая их как надежные вложения под еще неизвестный, но, безусловно,

огромный процент. В общем, она мне сразу понравилась, и чем больше я ее узнавал, тем сильнее меня к ней тянуло.

Но время шло, а я всё продолжал «дружить» (ужасное слово) с Викой. Во время обеда или перерыва на кофе она мечтательно рассказывала о своих денежных планах на будущее, о приезжающих духовных учителях, на которых обязательно нужно сходить. Я же слюняво наблюдал за ней из френдзоны, опасаясь открытых действий и продолжая выжидать «правильного момента». Но ситуация разрешилась без моего участия. В один выходной день мне пришло сообщение от Вики со ссылкой на какую-то статью: «Вот, посмотри рецепт. Нужно испечь пирожки, заговорить их на деньги и съесть. Пишут результат 100%. Так что приходи ко мне сегодня в 7 вечера печь денежные пирожки. Придешь?». И смайлик в конце такой подмигивающий. «Конечно, приду», — всем телом расплываясь в улыбке, написал я. Затем удалил слово «конечно» и отправил сообщение. «Классика с приглашением переустановить винду, видимо, уже вышла из моды», — подумал я.

К счастью, мой день стирки был вчера, поэтому проблемы с чистой одеждой не стояло. Чтя кодекс приглашенного к девушке, я отправился за алкоголем и цветами. Но из-за чрезмерного волнения у меня отказала фантазия, поэтому я купил красное вино и розу. До нашего свидания еще оставалось несколько долгих часов и, чтобы как-то отвлечься от мечтаний, я решил убить время недавно вышедшим сериалом.

С трудом дождавшись вечера, в нужное время я был у ее дома. Чтобы как-то сбросить мышечное напряжение, я поднялся на заветный седьмой этаж пешком, но, порядком запыхавшись, еще несколько минут восстанавливал дыхание перед дверью. Зайдя же в квартиру в парадной одежде, с бутылкой вина и розой, я обнаружил хозяйку в заляпанном мукой плотном кухонном переднике поверх спортивного костюма и легком недоумении поверх лица. «Ты куда-то собираешься идти после выпечки?» — спросила она с иронией и, не дожидаясь ответа, взяла меня за руку и повела на кухню. В глубине души я еще на что-то надеялся, но реальность злым волком из сказки про поросят уже дула на мною выстроенные соломенно-воздушные замки, и, когда вокруг прояснилось, я оказался напротив тазика с мукой, готовый превратиться в тесто для денежных пирожков.

Озадаченный, стоя у стола и замешивая тесто руками, как этого требовал рецепт, я постепенно осознавал нелепость моих намерений. Всё это время хозяйка квартиры видела во мне только друга по интересам. До моего уха доносились какие-то ее фразы-лозунги «усилить намерения!», «всё получится!», но я только кивал и всё с большей силой мял

постоянно ускользающее между пальцев тесто. Как в тумане прошли следующие два часа, в которые мы разделяли тесто на куски, читали заговор на привлечение денег над ними, медитировали на изобилие, ожидая готовности блюда. В конце концов, достав противень из духовки и съев по одному пирожку, Вика сказала, что теперь остаток вечера необходимо провести в уединении, максимально сконцентрированным на результате и, сложив мне в пакет половину нашего кулинарного творения, вывела за порог.

Задумчиво шаркая подошвами по тротуару вечернего города, я возвращался домой. Проходящие мимо люди беспокойно спешили куда-то, где хмельно и весело, чтобы отыграть за все неприятности трудовой недели. К своему удивлению я обнаружил, что мне было с ними не по пути. Осознавая прошедшие события, я, как ни странно, наполнялся покоем и легкостью. Ведь что, по сути, произошло? Бесплодные недолюбовные страдания превратились в коктейль забавного анекдота и фарса с долькой прозрения на краю бокала. Я даже был благодарен Вике. Видимо, это какой-то побочный эффект, но своим кулинарно-мистическим обрядом она вернула меня в реальность. В реальность, где еще было больно, но зато я уже был живой, где что-то было разрушено, но зато ощущались силы для строительства нового. В реальность, где я снова открыт встречаю с необычными людьми. Ведь в итоге жизнь становится набором историй именно с их участием.



ИЛАЙДЖА ЛЯМПЕРТ



СЕКВЕНЦИАЛЬНАЯ ЛОГИКА
ОДНОГО ДНЯ



Илайджа Лямперт

20 лет, Вильнюс
elijahlyampert@gmail.com
+37067046095

Секвенциальная логика одного дня

« Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами — кто смает с нас эту кровь? Какой водой можем мы очиститься? Какие искупительные празднества, какие священные игры нужно будет придумать? Разве величие этого дела не слишком велико для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его?»

Фридрих Ницше, «Веселая наука» 1881–1882 г.

Яркая вспышка возникла вдалеке безграничного нечего, где границы осознанного расплываются в волнах невиданного, превращаясь в безвкусную тьму. Свет вспышки сперва напоминает рождение звезды где-то в пучине космоса, которую очень просто не заметить невооруженным взглядом. Но отличие этой вспышки света от возникновения новой звезды в том, что она вовсе этим и не является, в то время как ее свет с каждой секундой всё больше поглощает тьму вокруг. Одновременно с тем, как свет маниакально распространяется сквозь безграничное нечего, извечная тишина побеспокоена возрастанием невиданного доселе шума, который точно так же, как и свет, с невероятной скоростью образует сущее.

«Как ты себя чувствуешь сегодня, Талос?» — произнес спокойным голосом сидящий нога за ногу худощавый мужчина в костюме, с причудливыми круглыми очками на кончике носа и прямоугольным блокнотом в руках.

Кто-нибудь когда-нибудь замечал, как просто услышать голос знакомых тебе людей в собственной голове, просто попытавшись произнести те фразы, которые эти люди чаще всего повторяют? Это работает даже если ты не видишь человека много лет. Это работает, даже если человек давно

мертв. Возможно, это какая-то странная особенность нашего мозга охранять те воспоминания, которые могут помочь справиться с одиночеством? «Я понимаю, что последняя неделя выдалась довольно трудной для тебя,

но молчанием ты не даешь мне помочь. Ты же хочешь вернуться и продолжать быть продуктивным?» — произнес худощавый мужчина, голос которого становился всё более раздраженным, в то время как его взгляд медленно сканировал сжатое тело Талоса.

Но почему ее голос продолжает появляться каждую ночь? Каждый раз, изо дня в день, одна и та же фраза, которая прохладным вечерним ветром проходит сквозь мой разум. Зачем мое сознание издевается надо мной? Почему я не могу забыть ее голос и ее лицо?

«Надеюсь, что это поможет тебе заговорить. Вчера пришли результаты обследования твоего неокортекса», — продолжил худощавый мужчина, протягивая деревянный планшет с бумагами Талосу, который даже не смотрел в его сторону и чье тело уже дрожало от собственных мыслей. Ее лицо, острые скулы, доброжелательные карие глаза, теплая улыбка — всё это одной абстрактной картиной свисает над моим сознанием каждую ночь, произнося эту режущую фразу ее прохладным голосом. «Всё обязательно будет лучше».

«Из-за недавнего “инцидента” твой неокортекс был поврежден. Возможности твоего мышления и речи теперь ограничены. Если ты не будешь сотрудничать сейчас со мной в поисках альтернативных решений, ты вынудишь меня прибегнуть к рестарту», — произнес худощавый мужчина смесью усталого и раздраженного голоса, увидев, что Талос даже не смотрит в сторону бумаг.

«Всё обязательно будет лучше». Даже сейчас я вижу ее лицо. Она смеется, будто бы всё действительно на пути искупления. «Всё обязательно будет лучше». Она выкрикивает эту фразу так громко, что листья под ее ногами разлетаются во все стороны. «Всё обязательно будет лучше!» Меня притягивает стать рядом и присоединиться к ее крику, стать всепроникающим унисоном. **ВСЁ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ ЛУЧШЕ!!!**»

«У тебя есть время до вечера на раздумья. Ты понял меня, Талос?» — оглушительно-резко произнес раздраженный худощавый мужчина, сжав кулаки и уронив свои причудливые круглые очки.

«Да».

Накинув свое длинное серое пальто, Талос направился к выходу из здания, ощущая лишь чувство глубокого разочарования в себе и в людях, которые давали ему смысл и надежды на счастливое будущее. Тем не менее, сквозь стену серых мыслей голос той безымянной женщины продолжал отражаться в его голове, и не оставалось ничего, кроме как спрятаться в её словах.

Одна-единственная дорога от того здания вела к ратуше, куда Талос направлялся медленным шагом. Приблизившись к главной площади, он

обратил внимание, что вокруг нее начинает собираться толпа. Пока одни люди вынимали плакаты, другие готовили дубинки и дымовые шашки. С каждой минутой количество людей на площади росло, а вместе с этим со стороны активно протестующей толпы надвигался гул. Несмотря на необратимое приближение конфликта, прохожих ничто не могло отвлечь от неоновых вывесок и приветливых витрин. Их лица окаменели в перманентной улыбке, а их глаза отражали неоновый свет. Заинтересованный происходящим, Талос медленно пробирается к одному из протестующих. Приблизившись к толпе, он обратил на себя внимание одного невысокого человека в маске, который протянул ему очередной плакат.

«Зачем? — удивленно спросил Талос. — Чего именно вы требуете? Этот город предлагает вам все вообразимые источники поддержания жизни. Так зачем же вы протестуете, а не наслаждаетесь вашим счастьем?»

Хоть и в маске, но лицо невысокого человека определенно обрело искривленный взгляд полный удивления, и рука с плакатом медленно опустилась.

«Зачем? Ты меня спрашиваешь зачем? Разве ты не видишь, что происходит вокруг? За яркими огнями неоновых вывесок скрывается омерзительность, которую нам пытаются продать. Наши взгляды были так долго прикованы к этим огням, что мы ослепли. Быть слепым — значит быть рабом. Рабом иллюзии легкости бытия, иллюзии познания смысла».

Он не успел завершить свой монолог — толпа начала принимать боевую позицию, так как из-за каждого переулка выбегали десятки полицейских, вооруженные щитами, металлическими дубинками и огнестрельным оружием. Несколько секунд спустя агрессия превратилась в полномасштабное сражение двух сторон на фоне городской ратуши: между полицией, охраняющей яркий свет неоновых вывесок, и протестующими, пытающимися всеми возможными методами кричать о необходимости открыть глаза и отвести взгляд. Наблюдая картину этой бойни, Талос погружается в состояние полной отрешенности, заиклившись на чувстве голода. Опустив глаза и плечи, он медленно направился в сторону знакомых уличных ресторанов.

Бездомный с очень усталым лицом следит за медленно приближающимся человеком в сером пальто, и как только тот проходит рядом, протягивает руку. Талоса обучили, что бездомные — наихудшие вредители общества, которые так или иначе будут разогнаны с улиц этой ночью. Отведя глаза от ссутулившегося бездомного и продолжая шагать

в сторону горячей пищи, его нагоняют слова проклятья, отражаясь от металлических стен. Эти слова проникают глубоко в уже параноидального Талоса, необъяснимой ему силой вынуждают развернуться и неразборчивым криком ругаться в сторону бездомного. Но обиженному человеку уже совершенно были неважны слова разъярённого Талоса в сером пальто.

«Каково тебе, существу прямоходящему, смотреть на червей вроде меня? — тихим прокуренным голосом заговорил бездомный. — Неужели я правда больше не человек, а лишь затоптанный труп собаки, недостойный даже захоронения? А ты, человек прямоходящий, на самом деле человек? Я вижу в твоих глазах отражение микросхем. Неужели ты подумал, что они примут тебя в свое племя, сделают тебя “своим”? Ты для них лишь... червь. Металлический червь».

С каждым следующим произнесенным словом у Талоса всё сильнее подкашиваются колени и темнеет в глазах. Позабыв о всепоглощающем чувстве голода, он бежит как можно дальше от места, где произошло его очередное ранение. Спотыкаясь о пустые бутылки и обувь прохожих, он пытается убежать то ли от бездомного, то ли от голоса в голове, которой всё это время не прекращал вещать: «Всё обязательно будет лучше. Всё обязательно будет лучше. Всё обязательно будет лучше...» Не заметив времени, он оказывается всё у той же ратуши, но на этот раз картина является опустошающей: куски оборванной одежды и плакатов лежат затоптанные на земле в лужах крови. Единственное, о чем Талос мог думать, это о непреодолимом желании курить.

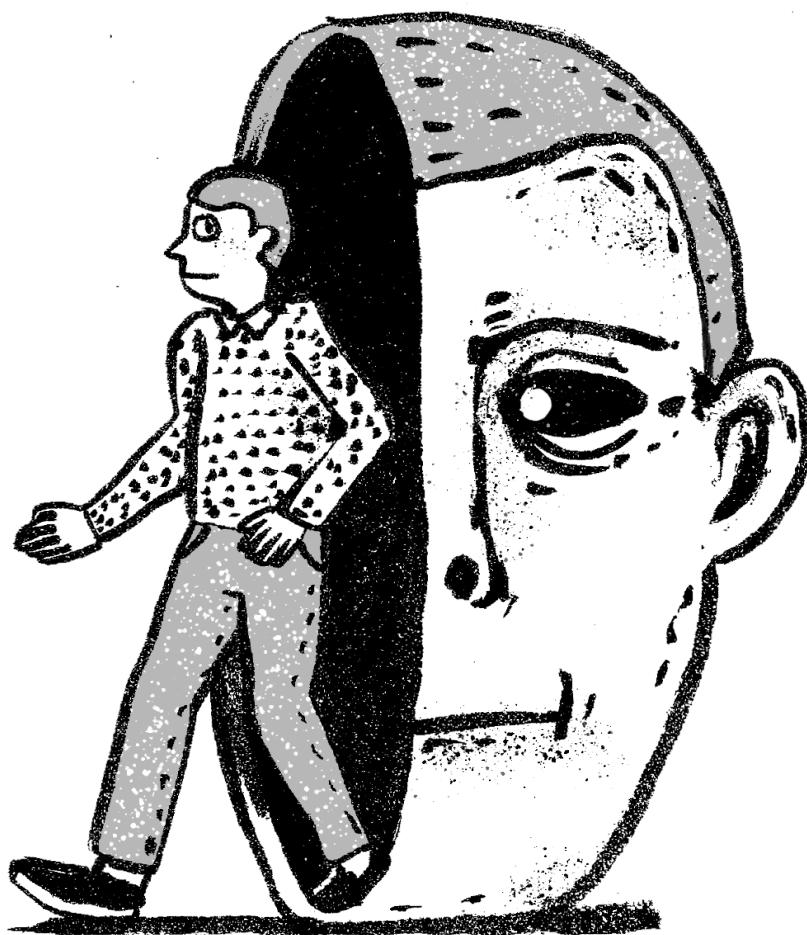
Сев на ближайшую скамейку, закулив сигарету и запрокинув голову, он принимает решение отключиться в мир звезд, в пространство за рамками материального и сущего, в свою уникальную мерцающую вселенную. Окутанный в тонкие белые ткани, Талос невесомо парит в абсолютном ничто, рядом с образом безымянной женщины.

«Почему я такой уставший? — его голос растворялся в бесконечности. — Почему я, который был создан для этого мира, целью которого является достижение наивысшего счастья, совершенно несчастен?»

Сквозь мерцание рождающихся звезд голос безымянной женщины окутывает его голову, словно прохладный воздух.

«Талос. Так устроен этот мир. Всё что тебе остается — это принять его. В мире людей ничто не способно выжить. Уничтожение всего окружающего — это часть их природы. Своими ослепшими глазами они не заметили прохождение точки невозврата. Всё что осталось — это наблюдать за последними днями империи».

Догорающая сигарета начала обжигать пальцы, редкие капли дождя проникали сквозь ткань его брюк, а свет неоновых вывесок всё так же ослепителен. Вдохнув остатки дыма, он поправляет свое серое пальто, провожает взглядом вечерних прохожих и начинает шагать. Талос принял решение.





КАТЕРИНА МАКСИМОВА



ПТИЧКА
ЖЕМЧУЖИНА



Катерина Максимова

Минск–Вильнюс
k.maksimava@gmail.com
+375259725089

ПТИЧКА

Я не видела маму больше года. Ну как, «маму» — женщину, которая меня родила и имя которой вписано в мое свидетельство о рождении. Настоящую маму — теплую, любящую, нежную, заботливую — я не видела уже много лет. Последний раз — когда мне было одиннадцать. Мы тогда переехали в Беларусь. Ну как, «переехали» — нас с сестрой просто перевезли. Как мебель, которую жалко оставить. Нас взяли с собой. Как штаны и свитер, без которых не можешь переехать из теплого края в Беларусь.

Мы просто приехали на лето к бабушке, как это было всегда. В принципе, типичная история постсоветской реальности: вы живете в городе, на каникулах в спальных районах делать нечего, вас отправляют в деревню, где прохлада, велик, речка, клубника, счастье — все довольны, всё понятно. Но не в нашем случае. Мы жили в Крыму. И летом, когда отпускники ломились в эту бывшую «всесоюзную здравницу», нас с сестрой отправляли в Беларусь. Где холодно, нет гор, нет моря, нет персиков, нет друзей, а из развлечений — только велик.

Велосипед мне дед собрал из металлолома, и это было самое большое богатство. На нем мы с сестрой и тетей выезжали за город в ближайший лес, рассматривали деревья, собирали букеты, ели ягоды. В тот день мы выехали с таким же незатейливым планом, но тетя вдруг сказала:

- Сегодня будем недолго.
- Почему?
- Так надо.
- Почему?
- Мама просила вам не говорить.
- Что не говорить? — я почувствовала подвох.
- Мама сегодня уедет назад в Крым. Она просила вам не говорить.

Что-то случилось, но не ясно, что. Мне стало очень тревожно. Что-то точно произошло. Что-то страшное. Я захотела развернуться и срочно поехать назад, спросить у мамы, в чем дело, остановить ее.

— Но мы же только приехали, Кать. Давай побудем здесь еще. Посмотри,

какая пшеница спелая, какие колоски крупные. Попробуй их!

Время тянулось. Мне хотелось плакать, ни поле, ни лес не интересовали. Важно было только — зачем? Зачем она уезжает? Что-то пошло не по плану.

Сперва стали чесаться глаза. Потом потекли слезы. Заложило нос. Глаза отекли. Я больше ничего не видела, всё поплыло. Нос перестал дышать. Отекло горло. Раздирало в груди. Я стала чихать. Чихать без конца. Каждый чих приносил не облегчение, а закручивал гайки ощущений до максимума. Словно моя грудь решила перестать дышать, сжав бронхи до спазма. Словно мои глаза не хотели ничего видеть. Словно мой нос решил не пропускать больше воздух. Словно мое горло распухло, чтобы заставить меня молчать. Словно мое тело решило перестать жить в тот момент.

«Мне срочно нужно к маме, я без нее умру».

В тот день я узнала, что мама уезжает в Крым лишь для того, чтобы забрать наши с сестрой документы из школы и перевезти их в Беларусь. В тот день я узнала, что домой я больше не вернусь.

Я не хотела. Умоляла ее остаться, бежала за ней по пути на электричку, редела, цеплялась, просила, плакала, кричала, падала. Где-то по дороге потеряла шлепанцы. Бежала из последних сил.

Она сперва обнимала, успокаивала и уходила, приказывая стоять на месте и дать ей уйти. Немного постояв, я срывалась, снова бежала, кричала до хрипа, что люблю, задыхалась, умоляла остаться, редела. Внутри всё разрывалось. Кажется, это длилось вечно. Кажется, это была смерть.

В один момент она накричала на меня, и я словно вмерзла в горячий песок проселочной дороги. Вмерзла и смотрела, как она уходит. Смотрела, не шелохнувшись, не дыша, сквозь слезы на ее спину, пока она не превратилась в точку.

Это был последний раз, когда я видела маму. Честно говоря, я до сих пор там стою. С больным от крика горлом, с опухшим от слез лицом, босиком в горячей пыли дороги, с остановившимся от смерти сердцем в надежде, что она вернется.

Она, конечно же, вернулась. Но другой. Холодная, злая на жизнь женщина, во всех проблемах обвиняющая нас с сестрой: «Я из-за вас переехала в Беларусь и жизнь свою сломала!» Но мы же не просили об этом, мам. Мы же ни при чем.

Недавно я прочитала статью о домашнем насилии над детьми, в которой девочка жаловалась, что мама обнимала ее только взамен на вымы-

тую посуду. Нас не обнимали даже за идеальный порядок в доме, успехи в школе, победы на олимпиадах. Даже универский диплом с отличием не сработал.

Что можно выжать из себя, чтобы заслужить любовь? Можно стать прекрасным человеком, талантливым во многих сферах, умным, самостоятельным, ответственным, добрым, щедрым. Но любовь-то заслужить невозможно. Она ведь просто есть. Либо нет ее. И тогда все твои достижения встречаются словами «можно было и лучше», их всегда недостаточно. И какой бы ты ни была, ты всё равно «черствая», «злая», «не такая, как надо». И чем бы ты ни занималась, слышишь, что «занимаешься всякой ерундой и чушью», «таланта у тебя, безусловно, нет, ты только портишь вещи», «вот лучше бы...»

В этой гонке улучшения себя для заслуживания маминой любви есть только один способ дойти до финиша — перестать в ней участвовать, выйти из нее.

Это длилось много лет. Слишком много. Постоянное ощущение холода. Обесценивание себя. Мерзкое вязкое чувство вины за то, чего мы не делали. Год назад перед днем рождения сестры мама позвонила с вопросом о подарке. Способ подавить постоянный страх и отвержение и получить хоть каплю удовольствия сестра нашла в еде. Полная она теперь, очень. Маленькая беззащитная девочка, нарастившая огромную защиту от жестокости. Ее лишний вес стал очередной причиной тыкать, что она «не такая», что «запустила себя», что «надо бы похудеть».

Мама позвонила с вопросом, что ей подарить: беговую дорожку или велотренажер.

— Мам, ты серьезно? Разве ты не понимаешь, что из-за твоего постоянного желания нас исправить у нее лишний вес? Ты не понимаешь, что этим сделаешь только хуже? — голос дрожит, в глазах темнеет.

— Тебе вечно всё не нравится! Что мне еще подарить! Ты знаешь, как сложно выбрать подарок! Ты опять всё испортила, из-за тебя я опять не знаю, что подарить!

— Мама, ей не нужны ни велотренажер, ни беговая дорожка, слышишь? Она так выглядит из-за холода, из-за отсутствия близости. Единственное, что может ей помочь — твоя любовь. Просто приезжай к ней, обними первый раз за много лет и скажи, что она самая красивая, что ты ее любишь. Это же главное и единственное, что ты можешь нам подарить — свою любовь.

— Хах! Вы и так знаете, что я вас люблю!

Но нет же, не знаем. Или всё, что было, ты зовешь любовью?

В глазах темно, сердце остановилось, горло сжалось. Нету мира вокруг больше, нету. Зачем я снова пыталась поговорить с ней? Зачем опять надеялась, что она меня услышит? Так больно и горько. И больше нету сил. В один момент вспомнилось всё, что происходило раньше. Вмиг вернулось то, что так старалась вырезать из памяти, так старалась забыть: я стою в слезах без голоса и желания жить босыми ногами в горячей пыли. Мне одиннадцать лет и меня оставила мама.

Две недели курсов Аня просидела, прижимая рюкзак к животу, как свое единственное ценное, защищая самое уязвимое место. На занятиях она боялась читать свои тексты, потому что привыкла, что в семье все ее достижения и проявления обесцениваются словами про чушь. Говорит, слышит в свой адрес, что бестолковая и жизнь всем портит.

Аня носит кроссовки, на которые больно смотреть. Две недели она проходила в одних этих кроссовках, а до этого, видимо, — два года, не меньше. Про них она наверняка слышала: «Лучше бы туфли нормальные купила, а не это китайское барахло!»

У Ани голос дрожит так, что у слушающих дыхание сбивается. И руки дрожат. Аня вся дрожит, словно от страха. Лицо у нее всегда опущено, словно готово в любую секунду исчезнуть, сжаться в нервную точку. Глаза испуганные.

Мне тяжело на нее смотреть, я в ней вижу себя в ее возрасте. Мне бескрайне жаль ее и так жаль себя, что горько становится.

Она говорит, что слышит, что она вечно злая, что занимается странными делами, ненужным никому бредом. Хочется подойти к ней и сказать: «Ты нормальная, правда! Ты такая, какая должна быть. Ты умная и красивая». Но останавливаю себя, ведь я не должна лезть в чужую жизнь и давать пустые надежды. Они так же ранят, как отвержение близких.

На итоговом прослушивании Аня читает текст, как ненужный лепесток раздавливается чьей-то жесткой подошвой и из-за своего нектара прилипает к ней, словно сам в этом виноват. Словно, нечего было рождаться на свет таким нежным. Словно нектар его — его недостаток. Вывернутый мир, где ты виноват, что ты — это ты. Ох, как это знакомо.

Аня пришла на итоговое чтение в блузке, ей очень к лицу. Белая блузка в узор из черных мелких птичек. Брови у нее такие же — черные, с изломом, как крылья. Аня сама такая же — тонкая, хрупкая. Птичка. Не могу удержаться, столько тепла у меня к ней. Подхожу, за плечо еле трогаю пальцем. Чувствует! Когда постоянно боишься, всё тело очень чувствительно, ведь нужно всегда быть начеку.

«Птичка, — говорю, — дай скажу кое-что». На ухо шепчу: «Не слушай, что тебе говорят, что ты неуместная, что ты не “такая”. Ты случайно по-

пала в такую семью, нет твоей вины в этом. Это сделает тебя сильнее, вот увидишь. Ты такая талантливая!». Мне так жаль себя, что в свое время никто не подошел ко мне с такими словами. Бесконечно жаль, что ни разу не слышала их от мамы. Пошлые слова, но такие важные! Глаза в ответ блестят, тихо: «Спасибо».

Через полчаса мне пришло от мамы сообщение. Первое за год, если не считать пары дежурных на праздники.

«Катя, мы не виделись и не общались давно. Я вещи в старом шкафу разбираю. Нашла те, которые ты сама шила. Ты такая талантливая. Я так тобой горжусь!»

Круг замкнулся. Я услышала от нее это первый раз в жизни. Но так поздно.

Так поздно, мам. Так грустно.
Птичка, у тебя всё получится, я-то знаю.

Жемчужина

«Чтобы вскрыть, разделив, нужно опыт иметь. Иначе можно сломать: или лезвие сломаешь, или створки. А еще хуже — руки порежешь. Есть два шрама на коленях: один — когда со стройки упал. Но он скорее просто предвестник. Второй — важнее. Он — от такой же створки. Значит, выбрали меня. Шрамы на руках — не в счет, они все появились после. Это как практика, как улучшение себя,» — он каждую историю начинает с этих слов, будь она про море или про космические корабли. Хотя ведь все всегда об одном и том же, ведь, кроме моря, в этом мире-то и нет ничего.

Вдруг встал, пошел куда-то, рукой по груди провел: то ли водоросли, запутавшиеся в волосах, выдрать хотел, но передумал, то ли просто автоматически это сделал, чтобы убедиться, что талисман еще там. Талисман, он же — ножик, он же — ключ от дверей к самому прекрасному, он же — оружие от скуки и проводник.

Обернулся и рукой позвал за собой. Можно было подумать, что просто махнул от безнадёги, но я-то знаю, что этот жест означает. Рука тяжелая и чистая, водой соленой омытая много лет, в тонких белых полосочках порезов. Это он мне путь указал. А я уже и иду давно, ведь знаю, что

позовет. И он знает, что иду, поэтому и машет так неряшливо. В простом мире все движения и жесты чистыми становятся. Есть «хочу» и «хочу не это», есть «вперед» и «развернуться и вперед». Ведь зачем «назад», когда назад ты двигаешься вперед лицом? Так же, как и «не хочу» не нужно, ведь просто «хочу не это».

Быть простым сложно. Чтобы понять этот язык, сперва нужно оглохнуть. А это просто — отойди на десять шагов, и уже кричать приходится. Ни стен, ни потолка — звук улетает, и море его ест. Всё нужно делать очень быстро: ни секунды нет, похожей на предыдущую. След в след не пойдешь, всё исчезает на глазах.

Хорошо после такой работы — отдыхать не нужно, в порядок себя приводить — тоже. Тут никто даже не поймет, скажи ты: «Я пришел в себя, я в порядке». Посмотрят так, словно ты глупость сказал. Как не в порядке-то быть? Как ты выйдешь из себя? Нет ведь над тобой никого, кто с таким же ножом стоит. Нож — только у тебя, и ты им сам всё можешь делать.

Он заметил, что я снова думаю. Посмеялся, говорит, что скоро перестану. «Этими мыслями, — говорит, — вы жизнь себе сокращаете. Своим же ножом в себя тычете. А жизнь, она — когда сидишь тут, спиной в нагретое упираешься и смотришь на море. Оно ведь всегда интересное и всегда разное».

Он зовет внутрь. Хотя обычно заходим, только когда темнеет. Сегодня день особенный: еще щиплет на коленке, но кровь запеклась уже. Странный у нее цвет, нет здесь такого нигде. Среди людей когда живешь, каждый день его видишь. Он, как наркотик, — так плохо от него становится, что еще больше им красятся, лишь бы «плохо» не отпускало: на руки, на книги, на машины, на губы даже.

«Раз у тебя есть такой же шрам, значит, и тебя выбрали. Хотя мне и так это ясно было, — повернулся ко мне: — Смотри, люди среди людей ее бы в цепи заковали, в корону, в золото, в оправу. И в коробку, черную как ночь, спрятали бы. И по поводу бы только доставали. Ведь глупые! Она-то лишь без повода живет, когда солнце светит. И для этого в мир пришла, чтобы рассказать людям. А они всё равно за свое: чтобы жить, всё поводы ищут. На, держи, твоя отныне будет».

Чувствую: большая, круглая, холодная. Но не забирает мое тепло. Она живая, хоть и не так, как люди понимать это привыкли. А красивая!.. Все закаты всех морей блестят и переливаются.

«Слезы наши — наше море внутри волнуется, соленые. Плачешь если — к щеке прижимай ее и иди, куда хочешь, вперед».

ЛИАНА КОХАНОВСКАЯ



**НА ДОСУГЕ НЕ ЗАБУДЬ СЫГРАТЬ
НА ПРОДАННОМ ПИАНИНО**



Лиана Кохановская

18 лет, Минск

l.kohanovskaja@gmail.com

+375291499300

На досуге не забудь сыграть на проданном пианино

Между тем как одно принимало решение о некровном родстве себя и неживых, при этом слишком видно растворяясь внутри немых осознаний, другое точно знало, что сейчас и есть самый подходящий момент для произнесения поминаемых букв, неслышимых слов, несвойственных предлогов — однако же если рассмотреть их вместе — они не прекращали быть героями одних и тех же знакомых измерений.

Между тем как одно не могло уснуть в округе бодрствующих обликов несовершенного, так некрасиво проживающего свой вневременный час, другое точно знало, что всё скрывающееся под маской «не», есть оно само, глубоко сопящее рядом с бессонным — но, всё же, если не закрывать правый глаз внутри левого приближения, их объединенное присутствие не станет вызывать диссонанс.

Между тем как одно считало смех ушедшего времени прародителем теперешних трагедий, другое стыдилось, и представляло себя морем, разволновавшимся на пороге сразу двух величин — но если бы вдруг эти кающиеся тела превратились в нищих на материю существ, их оповещения о себе самих просто невозможно было бы отличить.

Эти трения взрослеющих местных напоминали оды невинности и казались не менее мелодичными, чем любые симфонии из прошлого и завтрашнего века. Неимение нот говорило точно — всё привлекающее имеет отдельное имя, и будет совсем неправильно называть его чем-либо, помимо квинтета неправды, так надоедающим и играющему, и танцующему. В репертуаре этого вечера не было больше ничего, и тем самым костер дня внутри мира превращал любое небытие в оболочку любопытных исчезновений. Никто из созерцающих и подумать не мог о собственном безделье, неправильности похождения, недоступной умеренности, ведь делать было больше нечего. И, в общем-то, калека-дух, творящий нечто по-старому уникальное, мог казаться самым человеком-собеседником, либо совершенно играющим ложные квинтеты, либо неуместно танцующим оправдания, но трезвость приходила всё быстрее и быстрее, вместе с финалом единственной знакомой мелодии.

Все, коих сегодня не коснулся закатный хаос, занимались ничем не отличающимся, однако всё же называли свою событийность предчувствием, тем самым уменьшая длительность его прибытия. И пусть. Ещё всё успеется.

Никакого чуда, но тоска по еще не разбитому хрустальному спокойствию и правде, имеющейся в наличии вместе с безумством. Вспоминать вдали голос, который раз твердящий о вечной невозможности, было лучше, чем чувствовать необходимость в ответе.

Превратилось в общего гостя это незваное время сразу же после того, как в томной тысяче объяснительных листов появились главы, посвященные выдуманному слову «наоборот», и всем без исключения стало как-то не по себе. Маленький человек вдруг понял, что всё это время его личная жажда выдавала себя не в теле покоя, утаения и незначимости, а лишь в процессе замеченного увеличения чего-то, называемого им самим. «Наоборот» ничего не понимало, ведь хотело оставить его одного на месте, и будто бы соблазнительно издевалось над попытками и намеками того самого трепетного из всех встреченных. Маленькому человеку надоело быть любимым искренним артистом, и он нашел выход в создании другого дня. Музыканты напрочь забыли черту прохождения от «до» до «си», пускай еще некто из них так и не преобразил воздушность божественности в материю сложноподчиненных звуков. На двоякость желаний всё равно, пока в списке окружения лишь одно сплошное «наоборот». Юные прекратили шумное веселие, ведь чего же веселиться, когда и в начале, и в финале всё равно придется громко просить о помощи. Старички и старушки увидели, что охранять обстановку вовсе не обязательно, ведь, когда они засыпают, кто-то в очередной раз свершает историю, трудную для подчинения. Есть ли рядом отдельно зрячая лупа, или сегодняшним ранним утром она навеки вернулась к состоянию не преобразованного песка — волноваться нечего. Всё, что было сделано раньше, — лишь остатки неотредактированного справочника, глубоко забытого в новоявленном мире. Кажется, отныне что только не будет содеяно, не перестанет оставаться плодом ожидания по-прежнему тайного и единственного. И ежели главная роль станет передана зреющему человеку, то звание определения будет носить тот, кто всё объяснит, сформулирует, позволит продолжать, не используя осколки давно ушедших в ничто обид.

Они думают, что там, где они есть, абсолютности и единственности совершенно безразличны истоки и последствия терзаний, раздражений, бесконечных шагов и возвращений обратно. Но я и есть абсолютность и единственность, и я знаю, как сложно не обращать внимание на трагедии ускользающего кратковременного течения, находящегося вблизи еще несовершенной часовой игры. Пока они не имеют внутри себя понятия, что каменные души, деревянные стопы, солнечные похождения, клапаны

морских волн и цинизм природного явления ничем не отличаются от их неспособности нечто сделать лучше, чем оно есть, еще остается сохраненным и красивым смысл нашего продолжения. Если однажды что-то одно внутри меня упрячется в неизвестности, не справится со скукой и оповестит их всех без исключения о том, что ни один из совершаемых ритуалов больше не наделен течением абсолютности, и он не есть намек на совершенство времени, на блаженство минутного спокойствия и ни в коем случае не вера в наступающую вечность — они передумают быть раньше меня. Следовательно, играм с любыми таинствами придется встретить себя в тени серьезности. Там, где ничего давно уж нет. И всё по-новому. Чем же в таком случае мне можно будет оправдывать их не растворяющиеся в небытии тысячелетние попытки знания обо мне самом? Какую силу придется растратить на бесследное разрушение скопленных намеков? Любые найденные ответы и совершенные ошибки покинут мое нутро вместе с ними, чистыми, естественными, добрыми и невинными ритуальщиками, и всё станет еще более пусто, нежели тогда, когда они прибыли ко мне на встречу случайно и навсегда. Почему же никто никогда не желает спросить, что становится со мною, пока они играют с недоступными для них деталями моего духа, обделенного временем? Почему же никто не думает, что я тоже слишком многое помню, и наша схожая трудность забвения есть то, что они называют обидой? Трудно вернуться со своим первым одеянием к ним в глазные яблоки в те мгновения, когда более отчаянные говорят другим, доверяющим, что скоро мне придет конец. Верят все, кто только может слышать. Так красиво наблюдать за их старательностью, за тем, как они начинают подбирать слова, сохранять вещи, признаваться друг другу в вечной любви, рассказывать сокрытые, сонные тайны, наблюдать за одними и теми же природными прелестями, более глубоко верить в исполнение долгожданного, переставать убивать животных во имя плотного ужина, не покидать друг друга ни на минуту, жить. Так красиво, что хочется всё еще не оповещать о моей вечности, нагло лгать о том, что я также смертен, как и они. Когда сквозь сны пройдет день, обозначенный моими поминками, и закончится ночь, для которой они старались быть самыми безумными, любящими ритуальщиками, они, как самые наивные из обидевшихся, слишком обрадуются нашей старой доброй встрече. Распространяйте, сплетники, распространяйте всё шире и шире эти прекрасные слухи. Пожалуйста, не позволяйте себе сомневаться в том, что мы есть одно. Иначе придется бурной реке носить звание скорой помощи. Утонет внутри нее штамп, сокращенное доказательство существования, уверенность в покое, чьи-то невозможные для дальнейшего продолжения уста, или же сразу всё вместе? Весь-весь крохотный, безнадежный, незащищенный и великий человек, пропустивший уход будущего века вспять.

Нет, нет. Если же он — никому не удастся справиться с итогами процесса скучания, а мне приятно быть рядом лишь со спокойными, бездеятельными, регрессирующими лицами. Так говорят они.

Там, справа, к построенной в предыдущие лета, совершенно простой, знакомой скамейке, пережившей тысячи споров, наблюдений, завершений и одиночества, приближался он, недавно рожденный, проснувшийся после не наступившего конца. До начала чего-то нового он верил в то, что период его существования, охваченный волнениями по отношению к новостям, прожит, и отныне нигде, помимо левой, чуждой стороны, нечего ждать, кроме возвращения вспять. Жаль, что не нарочно посылаемые ложные странствия, оскверненные, неподходящие ноты, так желающие стать живыми, не сумели послужить беспамятству о благе вчерашнего дня одного из движущихся и говорливых участников. Стaranja неместных и привлекательность его знакомого предчувствия не могли остановить желание пройти неизменный путь для того, чтобы произнести фразу, возвращающую звук давно пробитых колоколов спокойствия:

«Добрый день. Как вам наблюдается сегодня?»

В словесном мире сегодня обстояли дела так, будто бы и первое и второе существовало вопреки любой светлости и явлению случая, и везде гремели ответы, на деле становящиеся началом нездешней истории.

«Знаешь, мне кажется, слева происходит нечто, похожее на нас. Наверное, некто из научившихся общаться оповестил их о том, что нами разгадана теория спокойствия. Пока тебя не было, по этой дороге проходил человек, которого я за все годы свой жизни ни разу не видел. Он показался мне таким ужасающим, что я сразу же побежал закрывать все двери и проверять комнаты на наличие беды. Я никогда до этого не нарушал сеанс наблюдения. Я никогда до этого не боялся человеческих, непредсказуемых деяний. Что-то снова меняется. Мы вновь ошиблись в попытке изменить этот вращающийся хаотичными событиями и кругами свет...»

«Успокойтесь. Это смена погоды. Часто ведь бывает так, что она влияет на наше ощущение сбой. Всё так же, как и было прежде. Только одна новость действительно есть. Я принес вам письмо».

Никогда дотоле в этом правом углу не звучали подобные слова. Удивительным образом вспомнились давно не произносимые предложения. Так странно, что в краях обитания духа непрекращающейся томности кого-то пришлось успокаивать...

Если же в правом углу земли назовут всё вспоминающееся концом молитв, то в левом это будет ничто другое, как начало. В этом и заключается трагедия моих деталей, так трудно переносимых друг другом. Когда

важно направлять свой слух в стороны горьких и болезненных осознаний правого, мое присутствие уже занято левой насмешливостью, другим тоном говорящей об одной и той же случившейся беде. Однако в подобной почве, благой для обид, виноваты они сами, посчитавшие меня числом, деленным дробями, но никак не самим существованием, трудно отделяемым от всего.

Это есть время, в которое недавно рожденным уже передано письмо второму, вот-вот появившемуся одинокому старичку. Уже наступила смена глагола «ждать» на такое родное «не понимать», и вместе с этим сменилась поза, выражение лица, положение света и ощущение болезни. Безумие стало здравием и вернуло наше первое, самое тихое и невинное свидание с ними, глубокими, седыми стариками, что ещё укутаны в пеленки времени.

Что было написано в том впервые переданном письме и было ли вообще? Никому никогда не узнать. Здесь, справа, никто не научен чтению, и не было ни одного мгновения, в которое прекращала свое существование профессия почтальона, работающего лишь из традиций левого угла, дарующего надежду на то, что когда-то исчезнувшие отсюда в потусторонние места жизни во имя учения чтению, письму, пониманию, открытию и закрытию чувства ожидания — оповестят о своей молодости и неубитом буквами здоровье. Тот самый глубокий старик всё еще сидел на скамейке, не имея способности прочесть новости о жизни исчезнувшего человека, но уверяя себя в том, что каждая строка говорит о чужом счастье, и волноваться нечего, даже если сегодняшний иностранец нечто разрушит, украдет, изменит. Смена вечности осталась в прошлом. Он держит ее остатки в своих руках и вновь никуда не хочет идти, а лишь наблюдать за забываемым воспоминанием, за хрупкостью собственной недавно укутанной в пеленки жизни.

Почтальон же, после впервые за долгое время выполненной работы, тихо возвращается обратно, уверяя себя в том, что ничего не произошло. Он уж точно не ждет никаких писем. Если бы свершился хоть один намек на оповещение чужой жизни, он узнал бы об этом первым, но не знает ничего он уже давным-давно. С тех пор, как ему, недавно рожденному, еще не дали имени, но наделили должностью.

Он родился в доме, где нечего было вспоминать, но оказался в мире, где всё, что могло произойти, уже случилось без его участия. И как же в таком случае допускать мысли о забвении? Неприбранные пылинки, разбитые сервизы, выцветшие фотографии, и засохшие чернила — есть жизнь жителя правой стороны света. Почтальон он или же глубокий, ожидающий старик — нет никакой разницы. Здешний ритуал, заключающийся

в продаже, и вправду не имел никакого положительного чувства, настоящей жизни и жажды по отношению к ней. В правой, старой стороне света, распродавали и память, и золото, и ушедшую красоту прабабушки, и дух несъеденного ужина, и даже мебель, без которой, как казалось, можно было обойтись и вещам, и людям. Как жаль, что никогда у почтальона не возникало чувство свободного, парящего, неуловимого и неконкретного времени, которое можно было бы посвятить желанному безумию. Однажды, оставляя его совсем одного, последним исчезнувшим на вопрос «Как же мне стать слугою твоего воскрешения?» прозвучал ответ: «На досуге играй мою мелодию, что всегда тебе мешала думать. Тогда самое неприятное воспоминание обо мне станет абсолютно приемлемой вечностью и избавит тебя от терзаний». Кто знал, что мгновение вхождения тоски в этот заколоченный дом однажды действительно охватит того одинокого почтальона? Кто бы мог подумать, что конец осознания, крика, беспамятства, непонимания и нахождения чего-то вблизи не есть временное затихание, после которого можно произнести «заново», но есть лишь полное исчезновение внутри взрослеющего сознания, рядом с которым никак не закрыть глаза? Пианино уже давно было обменено. Всё ради того, чтобы однажды купить зимнее пальто и честно выходить на работу, или же в покое наблюдать за спокойствием неизменных краев, впитывая температуру сегодняшнего существования через хитрое тело. Не до конца замерзшие стопы входят в дома, где ничего не осталось, помимо надежды на чужое возвращение к первым истокам. Жители правого света не представляют себя не ожидающими. И если же что-то во мне произойдет, изменится, им не удастся приспособиться, и не найдется смысл в пробуждении вместе с солнцем, и не увидится больше ничего. Так что лучше не говорить о том, что кое-что уже случилось, и тот самый незнакомый прохожий не есть безумие от смены погоды, а самое настоящее неожиданное явление.

Тш!

Пожалуйста, не забывайте о том, что помимо спокойного, продающего свое состояние правого угла света есть еще тот, по человеческим деталям которого тоскуют и сидящие на скамейке, и возвращающиеся в комнаты неделимой памяти, и живущие исчезающей жизнью.

Левая сторона справедливо украла для себя все участи, которых так томно, красиво и чисто ожидают вечно старые наблюдатели и почтальоны. Нет более стойкого предчувствия, нежели то, которое касается тесноты и неудобной свободы — итогов моих однобоких похождений. И приезжие, и местные из левого края только и делали, что забывали, совершали, разрушали, понимали и покупали. В левом, юном углу, бродила мания по отношению к приобретению, обладанию и уверенному знанию. Даже

ноты неправдивости приносили им удовольствие при рассказе о своей собственной, обманчивой природе, ведь каждому из здешних слушателей казалось, что они об этом знали еще с самого начала. Когда знакомые в правой стороне хрустальности оставляли следы, левой стороне и не хотелось оставаться гордыми прямоходящими. Порою, с прилетающим обратно возрастом, вблизи оказывались удушливые объемы и отсутствие места, в котором можно было вспомнить о полете. Слева время узнавалось не благодаря часовым стрелкам, а лишь по причине смены имени «цена» на имя «бессмыслица». Когда они пугались от мысли, что подобная перемена послужит истоку старости, начинали во всем винить меня, ничего не знающего. Но сразу же после осознания, что таких виновников, как я, никак не наказать — приспособлялись, находя в кругу собственных морщин, седых волос и ломающихся костях отголоски младенческой естественности.

Она, никогда не возвращающаяся и редко оповещающая о своих новых свершениях, необычайных диалогах, умирающих смыслах и вечно прекрасном здоровье, была уникальна лишь самым дальним, скрывающимся возрастом, о котором точно знали те, внутри которых она не перестала быть живой мыслью. Справа она не была забыта и даже таилась посреди некоторых пыльных полок, сохраняла свой юный, ушедший запах и иногда даже молча говорила с одинокими. Ей казалось, что если каждый раз при описании себя прибавлять прилагательное «зреющая», то слово действительно затмит всю истинность не только в чьем-то подсознании, но также — в сущности меня. Всё и вправду было бы так, если бы только она была одной-единственной. Во мне существовало столько точек, линий, боков, кусков и полноценностей, что обделять материями жизни даже самые скромные лица было бы излишне неправдоподобно и несправедливо. Дело в том, что этих жителей было необходимо рассмешить внутри самого центра действительности, в то время как им приходилось горько плакать в закоулке.

Загадка о нелюбви к седым волосам, однажды и навеки расстроившейся коже, медленном шаге и дальноркомому глазу стала любопытной только тогда, когда в этих левых, скрытных углах, заполненных всеми низшими и высшими веществами, случайно родился новый человек, в корне не являющийся близнецом устоявшихся стариков.

Справа также молчали о метаморфозе сказки в быль, человека в пыль и ожидания в отчаяние. Если слева удивлялись появлению чего-то действительно свежего, живого и говорящего, то справа никак не могли понять, почему полноценное исчезновение, утопление внутри меня совсем им незнакомо. Всё проживание основывалось на уверенности в том, что, помимо отсутствия, им неизвестно больше ничего. Анекдотом давно

стало понимание, а кошмаром — истинное незнание.

Неужели во всем виноват справочник, неправильно подобравший имена их изливающимся объяснениям? Тот самый удивительный проходящий еще в период переданного, так и не прочитанного письма, не приспособился к потоку дум о чужеродном ритме, мелодии умиротворенного, фантастичного наблюдения вне и слишком громко утонул.

Быть может, в письме и говорилось о потустороннем, иностранном несчастье? Но природа правого угла не позволяла верить в неудачи всего, что находилось дальше глазных яблок. Справа все были близоруки, но так и не научились читать. Знали они больше, чем о фактах своего умения и существования наоборот. Да. Во всем виновен справочник.

Возле той самой бурлящей реки, обещающей когда-то растворить внутри себя все неподанные уверенности, сидел недавно рожденный почтальон, совершенно не понимающий, как ведь справиться с несчастным, неродным, иностранным, но что-то всё же напоминающим телом. Как ведь счастливы те, кто лишен возможности наблюдать за агонией этого наицистейшего, добросовестного почтальона.

Нет. Не человек его интересовал, и не об его утоплении он совсем необычайным образом был оповещен. Вся его старая, недавно рожденная голова была наполнена деталями непрочитанного письма, не доверенного наблюдения, не сработавшей сменой погоды. Одним словом — мною. И в добавок ко всему, очередной необычайностью, что всегда была долгожданной. Слева шло знакомое, вспоминающееся и вечное. Слева шла юная старушка, о настоящем возрасте которой знали только здесь, и в это мгновение ей также было слишком сложно понять, почему же в их неизменно строящихся, изученных удивлением краях, рождается нечто старо видимое.

Как только ими станет понято, что путь от человека до письма, невозможного для прочтения, ничтожно краток и мелок — никакие утонувшие иностранцы и нечаянно оживившие местные не станут называться событиями, воспевающим бывшие вечера, и начнётся всё так, как даже не подразумевалось.

«Слава Богу, что вы дошли. Здравствуйте. Я так долго вас искал, что мне в один миг даже показалось, что это не имеет никакого смысла. Будто бы мы стали отделены навеки и никогда не научимся вновь перевоплощать мысль в человека. Какие же мы здесь глупые, раз уж не способны ни на что другое, помимо представления. У нас произошло нечто совершенно странное, то, с чем могут справляться только в ваших краях. Вы знаете... Впрочем, какая ведь разница? Лучше не знать. Когда не знаешь — ничего не меняется.

Вы нисколько не изменились, и я даже рад, что вижу вас такой, по которой и скучал все эти дни. По вам, которая всё еще существует в нашем доме. Если однажды решите навестить, прошу обратить внимание на правую стену в гостиной, если же поворачивать голову сразу после открытия двери. Там, рядом с полуразбитым сервизом, находитесь вы, точно такая же, как и сейчас».

Конечно же, ее тело и итоги его нахождения подразумевают уже нечто совсем другое. Полуразбитый сервиз и западный поворот вошедшей головы не отменяет суть времени, в котором необходима помощь. То, что на ней было точно такое же одеяние, преобладающий нищий рост, испуганный взгляд, гордая улыбка, не отменяло того, что ноги уже пострадали от венозного расширения, лицо от волн эмоций и даже веки пережили спуск. Но самое главное — ее звонкие, длинные речи перестали звучать. Слева уста передают всю свою мощь молчаливому слову. Она держала в руке новое письмо для почтальона и ничего не была способна объяснить. Он же в это время восхищался тем, что еще способен на то, чтобы что-то ей адресовать, посоветоваться, попросить о помощи. Нет. Оба молчали. Справочник вновь оказался глубоко не прав.

Если бы только вблизи оказалось пианино, кто-либо из двоих уж точно всё сумел рассказать, но пианино давным-давно принадлежит неслышимым векам и, по правде говоря, продолжает быть голосом вечерних, незначимых квинтетов. Ровным счётом, как и всё. Продолжает быть.

Видится, что сотворение слова «наоборот» никак не помогло в процессе объяснения. Он так и остался старым, непредназначенным для продажи, новым миром.

Читающие, или же говорящие.

Беспомощные, или же непомнящие.

Старые, уставшие, или же юные, незавершенные.

Упрятанные, или же выданные.

С пианино, или без.

Живые же, или мертвые.

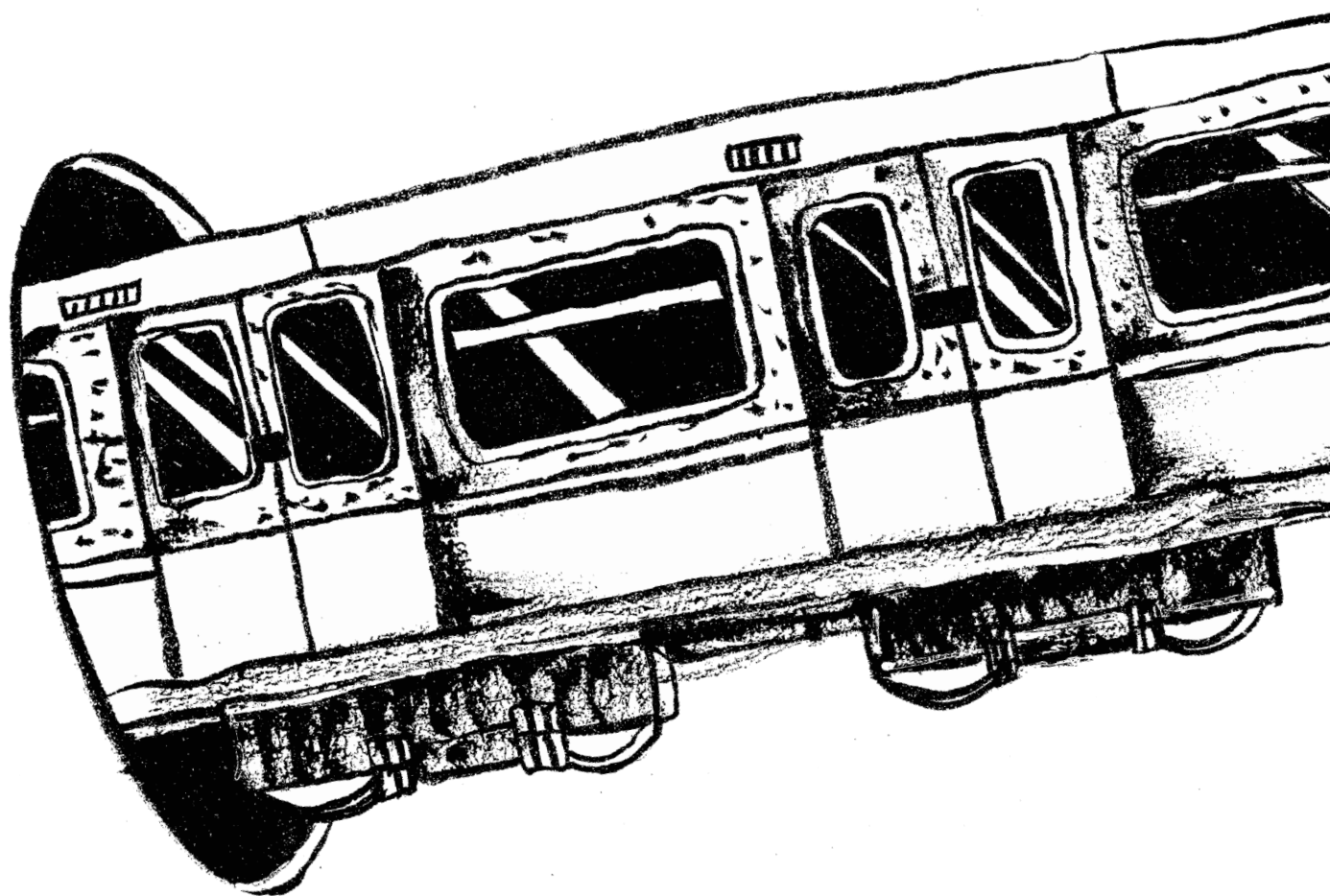
Пока они всё еще верят в собственные ритуалы и боятся конца, мы остаемся быть одним.



ЛЮБОВЬ МЫЦКИХ



ЭТО ВОПРОС ВРЕМЕНИ



Любовь Мыцких

18 лет, Вильнюс
lubamytskikh@icloud.com
+37067697554

Это вопрос времени

Время, не имея начала и конечной цели, всё равно оставляет очевиднейшие следы своего присутствия. Постоянно спешит, дабы навсегда сменить один ориентир другим. В этом пути совершенно теряешься: стоит лишь обнаружить полюбившуюся местность, как она тут же рассекается дальнейшей дорогой. Она протекает дальше, за город, потом за лес, куда-то незримо далеко. Почему тогда при своей бесконечности его присутствие так ощутимо? И к тому же так точно. Сейчас точно 16:06. Но какой смысл в этом 16:06, если я всё равно собирался сюда прийти? Тут ощущается что-то очень предметное, и уже совсем не точно. Говорят, чтобы уехать, прийти нужно в 16:05. А я безнадежно опоздал. Но на минуточку, всё равно можно еще успеть выкурить сигарету! Или проверить почту. Даже купить кофе можно успеть. Да всё что угодно можно успеть! Так зачем спешить? Но тут встает оно. Преграждает. Это образное «нужно успеть». Опять. Я ведь сам никуда не спешу! И всё равно не вовремя! Причем всегда. Какой же абсурд! Мне приходится спешить потому, что я совершенно никуда не спешу. Действительно, вопрос о времени — это вопрос абсолютнейшего отсутствия. Примерно так ворошил мысли Ф., ожидая своего поезда. Направление Вильнюс-Минск. Или Минск-Вильнюс. Что для Ф., в сущности, давно потеряло всякую значимость. Так часто он отбывал и прибывал здесь. Так часто и так одинаково, что все различия в этой местности стали столь близкими, что перестали им замечаться. И сейчас, задумавшись о времени, он на секунду действительно забыл, где находится. Из-за этого Ф. пришлось прервать мысль о времени, уже далеко утекшую, и остановиться, прислушиваясь. Всё до пошлого обычно. Даже лица мельтешат те же. И все такие измороженные, такие рыхлые. Даже стрелки на часах такие же, даже он сам такой, как обычно. И даже убежать некуда — время не позволяет. Сложнее всего заметить привычное. Так Ф. понадобилось некоторое время, чтобы за что-то уцепиться. «Ну и где я?» — перебирал он все сглаженные образы. Спустя моменты он услышал фортепьянную музыку, что скрашивала время ожидающих. «Это точно не Минск», — осознал Ф. И, слушая, отправился так далеко, что забыл о своём времени.

С. по привычке пунктуально спешила. Уже в 16:32 ее можно было найти сидящей у окна. Телефон уже заряжался, на столике лежал скетчбук, а на

соседнем кресле были дугой разложены карандаши, настолько это место стало принадлежать ей. Знаете, таких людей, что выделяются среди всех, но при этом их присутствие не кажется неуместным. Как, например, человек трезвый, только что пришедший к своей давно сидящей компании в бар. Напротив, такие люди будто управляют всяким пространством, заставляя его подстраиваться под собственный образ. С. и была такой. Проходящие, в поиске своих мест, цеплялись за нее взглядом, и пространству вокруг нее приходилось оживать. В будущем, вспоминая эту поездку, образ С. останется в их памяти одним из самых выразительных. В ее позе, в движениях по бумаге, даже в том, как были разбросаны карандаши, виднелась чистейшая, кажется, даже присущая ей одной утонченная уверенность. Синий, зелёный и черный она не выпускала.

«Эта женщина, видно, этих аристократных кругов. Сразу видно, воспитанная», — говорила сидящая сзади женщина своей дочке, пока та заворуженно смотрела на С. Очень уж девочке хотелось узнать, что та рисует. Впрочем, способность заставлять пространство играть на себя — это единственное, что С. позволяла замечать другим. Сама она скрывалась глубоко за изгибами своей позы со слегка наклоненной вправо головой и будто случайно согнутой рукой, обращенной ладонью вверх. Но об этом никто, кажется, даже сама С., не знал. Она давно перестала думать о взглядах других, а привычка притягивать взгляды стала совершенно машинальной. Сама же С. была где-то невероятно далеко от нас — может, в своих рисунках. Даже не тех, что делала сейчас, а в будущих, что создаст скоро, в далеких планах. И в этом она уже не ошибалась.

В 16:55 слишком высокий мужчина поспешно зашел в поезд. В 16:56 он уже нашел свое место рядом с поражающе неприметной женщиной и девочкой в слишком желтом платье. Сам же он был весь в черном. Лишь изящный стиль помогал скрывать присущую ему трупность. Он, кстати, любил поезда. Очень просто. Просто за что-то ему одному известное.

«Это пятно жизни уж слишком резко для моих глаз», — подумал он, смотря на желтый.

В 16:57 он уже сидел напротив С. Хотя компания столь примечательной женщины его тоже не устраивала, по его взгляду можно было прочесть лишь живое безразличие ко всему происходящему. Совершенно ясно, что это был Ф.

Когда местные ориентиры уже некоторое время сменялись за окном, Ф. неожиданно вспомнил о времени.

— Сколько время? — поспешно спрашивает он и тут же жалеет о содеянном.

Теперь в его монолог придется вмешаться этой и так мешающей женщине, а ведь можно было просто достать телефон.

— Уже 17:08, — звучит мягко, будто она знала, что он несомненно спросит.

— Уже? — тут же повторяет Ф.

— Вы тоже не заметили? Со мной такое часто случалось: я вроде бы всегда шла с ними, а они проходили где-то невероятно далеко от меня. Сейчас, правда, реже, — так же мягко и выдержанно продолжает С.

— Прошу прощения. Я вижу, вы неправильно меня поняли. Я бы никогда не стал вам возражать, но раз уж сложилась такая ситуация, я объясню. Вы совершенно не правы. Смотрите...

— Но прошло действительно 8 минут, — перебивает она, — даже уже 9, — решив, что всё неправильно поняла, перепроверила С.

— Именно! Какое тут ваше «уже»? Прошло целых 9 минут. Или уже просто 9 минут. Но никак не «уже»! Неужели вы даже не заметили, как мы в 17:01 проехали первый мост, тот, что почти не ржавый, дом, где мужчина что-то нервно сжигал? В 17:03 мост номер два с надписью «Vilnius riot»? Стадо коров, от которого отбилась одна из них, рыжая? Женщину, продающую молоко этих коров, мы встретили в 17:04? Потом до 17:06 был лес, лес, лес, потом в 17:07 я потерялся и спросил вас. И это только то, что я смог запомнить среди тысяч образов и происшествий, которые, кстати, совершенно никак меня не затрагивают, которые я обречен наблюдать каждую секунду, наполненную моим отсутствием. А вы говорите «уже», как будто бы нет ничего за пространством ваших рисунков. Как будто бы вы совершенно не знакомы со скукой. Легко скрываться за воображением, да? Но раз начали, посмотрите, наконец, вокруг! — выпаливает неожиданно для себя Ф. и снова сразу же жалеет. Изоляция дает о себе знать — теряешь всякую способность к порядочному поведению.

Однако С. это смутить не смогло, она лишь посматривает на него со сдержанным любопытством, дабы не смутить, и так же мягко продолжает:

— Вы потерялись? Где?

Это был очень неуместный вопрос в очень неуместной ситуации, где ни первого, ни второго вообще не должно было случаться. Ф. сразу же в мыслях зарекался себе больше никогда не разговаривать с незнакомыми, впрочем, это обещание он нарушал постоянно. И каждый раз, позлившись, понимал, что такую ситуацию создал он сам для самого себя. Теперь неизбежно придется всё это куда-то вести.

— Во времени, кажется, — неловко произносит Ф.

Ему, как и любому человеку, совершенно не хотелось объясняться в необъяснимых ему самому вещах. «Куда уж не правильнее», — раздавалась в его голове спасительная усмешка.

Поезд снова заехал в лес, солнце, встречаясь с соснами, начинало моргать, поэтому все пространство поезда заполнилось противным мерцанием. Где-то в конце вагона начал реветь ребенок. Мужчины справа открыли водку и мясо, вонь медленно простиралась по всему вагону, гигантская женщина, боком пробираясь через проход, предлагала купить чипсы. А в окно около С. яро бьется обреченная на смерть оса.

— Вот как сейчас, — продолжает Ф., следя за осой.

— Знаете, я ведь вас очень хорошо понимаю. Всё это было. Но навязывать то, чего вы не видите, я вам не собираюсь. Если хотите, попросите — и я расскажу. Так вы не будете меня винить за гнетущие мысли, которых вы, как я вижу, совершенно не хотите, — начинает играть С., пользуясь ситуацией.

— Ну расскажите, — отзывается Ф.

Его задел свой собственный образ, нарисованный С. Бывают качества столь неприятные, что ты даже не думаешь о себе в их контексте. А потом кто-то заметит это в тебе, и не думать уже не возможно. Злишься на этого постороннего, что всё испортил. Правда в конце обычно их и благодарят.

— Смотрите, — улыбается она, — время движется вправо. Всегда так, словно координатная прямая или строка текста. И все мы неизбежно движемся вместе с ним, даже когда лезем влево, как, например, в историю, — всё равно вправо. Но так случается, что что-то действительно случается, затрагивая твое присутствие. И вправо уже нельзя. Вот ты уже идешь какими-то отдельными проселками. Но вас ведь ничего не удерживает?

— Вы правы, любая привязанность уже давно перестала быть для меня возможной.

— Вот! Поэтому для вас и есть всё и одновременно у вас ничего нет. Дорог много, а выбирать вы не собираетесь. Посмотрите, всё движется, а вы пытаетесь стоять как столб посреди всего. Но так нельзя! Вас в таком случае потащат, поволочат силой. Только всё это очень медленно, вы ведь уперлись и не хотите. Вот и теряетесь. Потому что никуда не торопитесь. Вы ведь не торопитесь? — на секунду усомняется С.

— Не тороплюсь, — признает Ф. и даже почти готов включиться в беседу, если бы бьющаяся за жизнь оса, наконец, умерла или просто как-то исчезла. В этом поезде в этот момент она единственная, кто что-то переживал, и это был сильнейший ужас. Пока все скупали чипсы, пили водку и томно говорили о времени, дабы его скоротать, оса была сопричастна к жизни. Оса переживала, доживала. В общем, жила.

— Я времени всегда отдаюсь, — начала С. — Оно подкинет что-нибудь любопытное, всегда подкидывает, я и цепляюсь. Раньше я этого не замечала, думала что-то другое, или вообще не думала. А потом, смотря на других, поняла, что как-то научилась с ним обращаться. Начала разбираться, может, лучше смогу. Но тут я и потерялась. Нельзя человеку увидеть кар-

тину, в которую он неизбежно включен, не сказав. Так что останавливаться и смотреть по сторонам здесь нельзя. Оно несет иногда быстро, иногда медленно, смотря, за что зацепишься. Всегда по-разному, в общем. Но главное, что вправо. Всегда вправо. То есть я как бы живу в нем, и оно решает, куда мне идти. А мне интересно. Вообще время только и делает жизнь интересной. Не будь конца где-то там справа, никакого права у нас вообще бы не было.

— Нет. Для меня всё время одинаковое. Да, раньше я еще чему-то поддавался. Но раз уж мы завели этот диалог, то я не буду ничего скрывать, как и вы от меня. Хорошо? Вы ведь видите, чувствуете, там понимаете, что всё одно. Все люди одинаковы своей человечностью, всё природное совершенно недоступно, а всё созданное — создано зря. Мне и вам, да и любому, случайно что-то понявшему, становится дозволено всё, становится и невероятно, невыразимо скучно. Даже смешно как скучно, — с грустной улыбкой прерывает он. — А право... Да, нет у нас никакого права. Мы подчинены и должны идти от начала до конца в шеренге, будто на казнь. На казнь. И делай, что хочешь. Вот я и делаю. Всякое, часто абсолютно неуместное и бессмысленное. Такое вообще существовать не должно, а я делаю. Только абсурд напоминает о жизни. И только так возможен какой-то сдвиг во времени. Сделал себе проблем, и оно очень быстро течь начинает, интенсивно. Переживаешь каждую секунду. Но при этом его очень мало проходит, а потом оборачиваешься и так много помнишь, как будто месяц прошел или год, а это кажется два дня было. И смешно от этого. И страшно, что только так. Только в абсолютнейшем противопоставлении естественному что-то чувствуется. Что еще делать, как не смеяться?

— Извини... те, что перебиваю, но мне вдруг стало действительно интересно, сколько время?

Прозвучало это абсолютно естественно. Самый обычный вопрос, заданный понимающим этот вопрос человеком. С. будто хотела утянуть Ф. куда-то, где ему самое место, но куда он никак не может добраться. «Сколько время?»

И оба они засмеялись, как будто услышали нечто очень смешное, близкую, понятую только вами шутку, в компании непонимающих. Почему они так смеялись, объяснить словами они никогда бы не смогли, да и это никому не нужно. Но сами они поняли всё, что им было необходимо, и это понимание было настолько страшным, почти пугающим, что им и пришлось смеяться. Так будет объяснять это происшествие Ф. чуть позже.

— Какой глупый вопрос. Просто наиглупейший, — заливаясь смехом, продолжает Ф. — Сколько стоят чипсы? Сколько у тебя детей? Даже сколько тебе лет? И рядом — сколько время?

С. всё понимает.

— Сколько время? — повторила она. — Как будто товар в наличии, словно деньги в портмоне, словно пример. Какие же мы всё-таки с вами глупые. Нас волнует лишь один бесконечный вопрос наличия. Сколько время? — начала она доставать Ф. — Ну сколько же время?

— Нисколько! Несколько! — замороженно выкрикивает Ф.

— Извините, у вас время в наличии? — шутит она.

— В наличии.

— А сколько осталось?

Этот вопрос немного озадачил Ф. Задумавшись, он ответил уже лишь с остатками былой улыбки.

— Прошло 26 лет, а было, наверное, пару недель, может, месяц.

Но для С. это был слишком простой ответ. Такое не принимается.

— А осталось? — не отступает С.

— А осталось вправо. Больше не знаю. Несколько. Нисколько...

И всё замолкло. Поезд наполнился закатным солнцем. Все пассажиры начали потягиваться, раскрываясь приятному теплу, и некоторые даже улыбаться. Все, кроме Ф., поглощенного совершенным непониманием такого простого, известного даже ребенку, времени. Ф. сейчас замечал только то, что прошло, испуганно озираясь по сторонам.

— Вот странно, — прерывает паузу С. — Оно вроде есть только для нас, ну людей, хотя очевидно же, что у нас его нету. Вот даже с этим «прошло» и «осталось». Может быть, и «сейчас» нету?

— Похоже на то, — как-то далеко ответил Ф.

Ему очень хотелось опустить глаза и просто смотреть на пол, дабы ощущать какую-то опору, но позволить себе такое он не мог. Ухватиться за ориентиры больше не получалось. Ф. безнадежно потерялся.

— И что будете делать? — раздаётся вдалеке голос С., ставший единственным ориентиром.

— Проходить то, что осталось? — вопрошает Ф., всё ещё надеясь, что кто-то или что-то придет его спасти.

— Вы у меня спрашиваете? Я не знаю. Давайте что-нибудь пройдем, придумаем. Это всё-таки вопрос времени.

Солнце село, лишив всех присутствующих последнего тепла, запах водки и мяса уже приелся, осел на поверхности вещей, дабы послужить напоминанием об этой поездке. Со светом ушло спокойствие, заставив голоса говорящих стать громче, а молчащих — увеличить громкость в наушниках или на крайний случай укрыться от темноты книгой, где нет настоящего одиночества. Где тебя не слышно. Стал виден скрываемый ранее солнцем стерильно белый свет ламп, что только нагнетал. Тьма в окнах позволяла видеть лишь твое отражение, единственное не сокрытое в ночи. Мысли о том, как скорей бы приехать и броситься в объятия

встречающих, не покидали головы пассажиров. Лишь те, кого никто не ждал, никуда не торопились. Оса с последними лучами потеряла и последние ориентиры свободы, смирилась со своей судьбой, тихо села на столик и незаметно для всяких глаз умерла. Такое смирение люди обычно зовут благородностью. Но здесь речь всего лишь об осе, поэтому ни о каком благе никто и не думал. Ее случайно смели локтем. Наступили. Раздавили. И, не вспоминая, забыли. Однако смерть этой осы означала, что больше никто не присутствует здесь, никто не ощущает себя в бесконечности крушения корабля жизни. Проще говоря, никто тут больше не жил. Так времени пришлось обратить внимание на нового участника процесса. В сущности, им мог стать кто угодно: неприметная женщина с дочкой, гигантская продавщица или один из мужчин с водкой. Однако единственными открытыми к этой временной затее совершенно случайно оказались С. и Ф. из-за совершенно нелепых разговоров против самого времени. Чем больше тебя волнует время, тем упорнее ты от него скрываешься. Так оно обратило на них внимание. Так С. и Ф. обратили внимание на происходящие вокруг. Им казалось, что всё присутствующее, оставаясь таким, как и было, обрело совершенно другой вид. Будто его подсветили сзади и тень теперь падала на них, скрывая их же и обнажая всё вокруг.

Всё тот же поезд. Тот же путь. Тот же ребенок, уже не плачет. Та же водка. То же мясо. Но что-то не то. Три вагона поезда растягиваются в пропасть. Правда, почему-то перпендикулярную. Тут не упасть. Политика гласности. Смотри не хочу. Из конца света торжественно выглядывает один. За ним второй. Следующий. Неисчислимый. О господи, господины в костюмах. С различными вещами неизвестного происхождения. На вещах есть кнопки. Вероятно, это может быть кто-то, но их костюмы настолько оркестровые, что так и приходится замолкать в предвкушении вагнеровских нот. Людей оркестра что-то сильно тревожит, может быть, их выход начнется в считанные минуты. Может, всё что угодно другое. А инструменты? Инструментов нет. Вещь с кнопками не суть инструмент! Всё ясно — они никакой не оркестр. Они и сами всё знают. До такой степени знают, что каждый из них так же нервно заменяет свой инструмент совершенно любым предметом. Но никак не вещью с кнопками. Лишь бы руки успокоить. Самый первый всеми силами начинает дуть в чей-то зонт, так сильно, что по нему струятся слюни, но все хорошо, всё-таки это зонт. А это вступление. Второй тщательно перебирает пальцами страницы журнала-меню, выигрывая нечто невыразимо тонкое. Страница с чипсами неожиданно гнется. От стыда он опускает глаза. А четвертый выстукивает что-то на спине третьего. А он плачет и подпевает. Ай-ай-ай. Невероятно красивая мелодия. Однако С. и Ф. силятся, не могут ею насладиться. Ай-ай-ай.

С другого конца этого поездного, или уже квартирнного или оперного ко-

лодца, вываливается сонм проводниц, и это сборище что-то нагло подсовывает в руки сидящих. Бери не хочу. Подсовывают ужасно неуместные анкеты о новой совершенно незамеченной никем инфекции. В этой отвратительной ситуации Ф. вежливо отказывается, оскорбляя своим поступком проводниц. Взгляды всех пассажиров тут же окутают его осуждением. Дурак. Мудак. Какой пример детям. Червяк. Очень некрасиво. Ф. больше не может. Быть безразличным. Впервые за долгое время в нем начинается биться это давно забытое чувство чувственности. В нем открывается чистый, заполняющий всю его пустоту стыд. Виновен перед всеми. И камни уже летели. «Физкульт-привет» — кричит он широкой. Разбилось. Хорошо, что С. всё вовремя понимает, берет две анкеты, и всё продолжается дальше. «Пора бить тревогу!» — заявляют пиксельные буквы заголовка. И восемь невероятно сложных вопросов. Каков ваш уровень железа? Не скажу, запредельно высок. Боитесь, заберу? А кто вас знает. Меня никто не знает. Выходит, вас нет, ну и хорошо, а то мне показалось. Но я есть! Креститься надо. С каждым вопросом спокойные обнаруживают у себя всё новые и новые симптомы. Отек горла. Это уже беспокоит. Самые больные даже убеждаются в своей болезненности и уже представляют неизбежный поход к врачу во всех мельчайших деталях. Кажется, я сгниваю изнутри, а снаружи цвету, чтобы никто не понял. Я понял. Стоит всем задуматься о тревоге, как широкая проводница так же нагло побежала выхватывать все бумажки, заменяя их никому не нужным «спасибо». Кыш-кыш-кыш — не успокаивается Ф.

— Сколько осталось? — спрашивает С. у широкой, перекрикивая Ф.

— Мы рядом, — отвечает та, решив, что С. о времени.

— Вы это замечаете? — обращается С. к Ф.

— Я это чувствую, я рядом, — отвечает Ф., оглядываясь. В действительности сейчас вокруг них разворачивалась самая обычная жизнь, только видна она была немного иначе. Буквально самую малость по-другому освещенная. Одна лампочка перегорела. Ее заменили другой. А справиться с этим уже невозможно. Теперь всё кажется рядом.

В 679 ряду ребенок, может, где-то всё также и плачет, но, помимо предметного оркестра, слышится лишь голос мужчины, что видно перебирает с водкой, громко поющего песню о дружбе. Кто это есть совершенно не понятно, ведь все рты сейчас заняты той самой водкой либо мясом. Как-то это неловко, даже неприлично. Всё-таки европейский поезд. Понимая, что кто-то поет, все разом набирают в рот водки и держат так, не проглатывая, вдруг на тебя подумают. А он всё поет. И эта опера продолжалась бы свои положенные два с половиной часа, если бы слишком старые мужчины не закончили свой диалог. Водку они так и не заканчивали.

В остальном вроде всё, а водка осталась. Но пришла усталость. Так они

решили по очереди заканчивать и оставлять. Так один спит, а второй допивает. Потом меняются. И только один засыпает, как второй, сглатывая, лезет проверять пульс товарища. Он-то за здоровье, а с этим может что угодно случиться. Забота по очереди. Сидящие рядом 3 девочки, наблюдая за ними, понимают, что это очень важно, и начинают проверять пульс друг у друга. Что-то бьется.

— Кажется все живы, — ухмыляясь, замечает С.

— Кажется, это уже никогда не пройдет, — одумавшись, отвечает Ф.

— Мы же уже говорили, хочешь, чтобы прошло — проходи, — игриво отвечает С. и утягивает его за руку в этот коридор бесконечности. Наконец-то они падают.

Вот они пробираются через гигантских проводниц. Лидия Афанасиевна, Виктория Иосифовна, Широкая Широкая, Инна Вагнеровская, Временная Сансаровская. Дальше назад в совершенно предметный оркестр. Поют междометия. Становятся их частью. А вот уже переливаются в среду новых, молчащих. В этом помещении всё, может, помещается. Больше они не тихие наблюдатели в тени, теперь они сами выступают, освещенные этим умертвляющим светом. Теперь это их опера. Всех их. Они всё метались из стороны в сторону, как когда-то боролась за жизнь оса. С одним небольшим отличием: они не имели ни малейшего понятия, где их место. Ф. всё спрашивает. С. отвечает. Ф. молчит, пассажиры шелестят. С. смеется, мужчина поет. Пульс стучит и Ф. говорит. С. и Ф. говорят, проводницы молчат. Здесь никогда не молчали. Свет моргнул так верно. Все замолчали. Это был выход наших персонажей. С. и Ф. успели договориться во что бы то ни было играть. Они решили делать одно и то же. С. начинает играть очень медленно, очень аккуратно и плавно. Не спешит и растягивает каждое событие во все возможные нескончаемые формы, не знающие границ, в зачеловеческое заматафизическое бытие. Там, вероятно, что-то должно являть себя в этой старательной тщательности, приоткрываясь, со временем. Ф. должен был торопиться. Начал. Делал. Раз и сделал. Или нет. Так и закончил. Торопилось и ожидалось, очень качественно. Как не надо. Как в первый и последний. И не смотря на то, что делали они одно и то же, но абсолютно разное, действия их остались совершенно, до самой последней мелочи одинаковыми. Логическое мышление, то есть неправильное, играется очень весело.

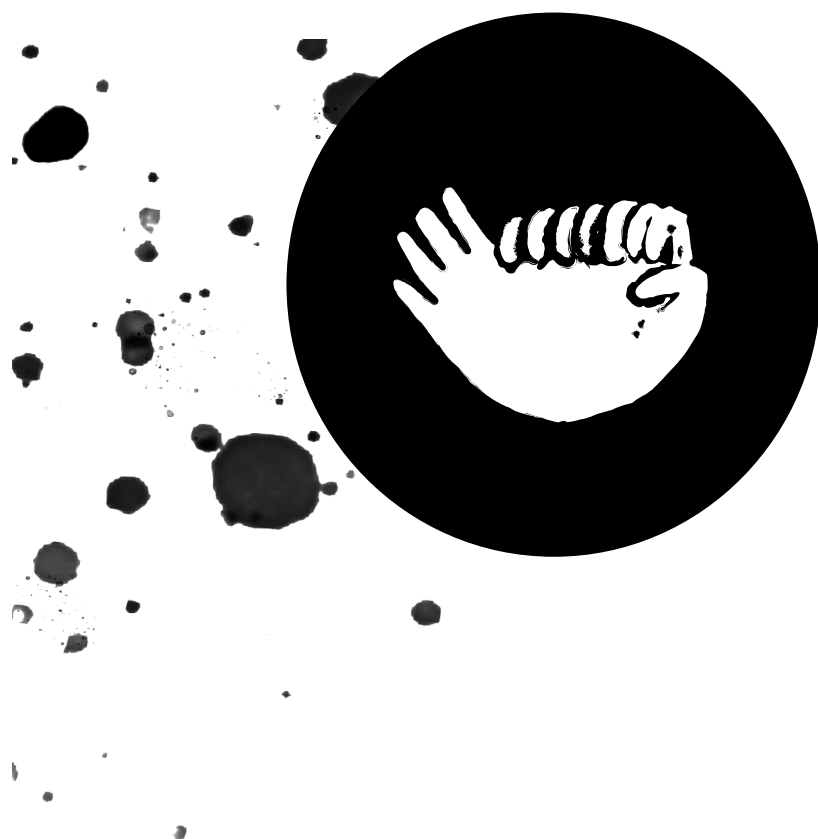
«Выходит, это не имеет никакого смысла! — восторгаются они. — Как же всё это невероятно и безгранично, странно, уродливо, глупо и очень красиво».

Совершенно наполненным стало пустое происходящее в этом поезде с этими двумя совершенно случайными людьми. Но с С. и Ф. сейчас происходило гораздо больше. Пока они присутствуют в этом времени, пока они проходили это происходящее, где-то вне пространства происходило го-

раздо большее. Рисунки С. заметил известный коллекционер, и все знакомые в спешке искали любые следы подруги, дабы та всё не пропустила. У Ф. же происходило нечто невероятно смертельно грустное с его, вероятно, самой близкой. Но все эти необъятные истории происходили без них и только благодаря им. Всё это время.

— Я не хочу, чтобы это проходило! — в восторге кричит Ф.

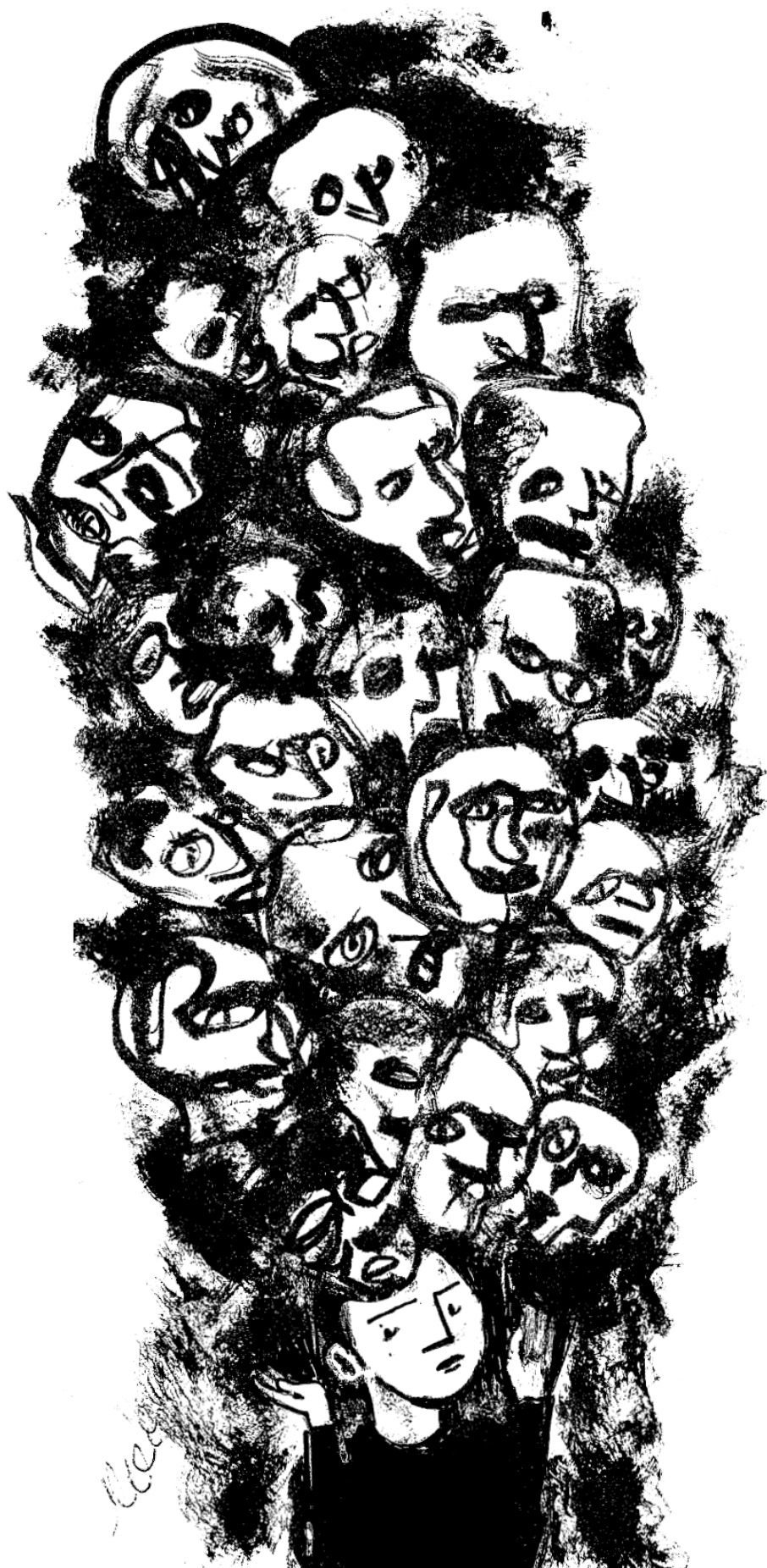
Поезд замедляется. Разговоры затихают. Тьма разбивается фонарями. Поезд останавливается. Поезд остановился. 19:55. Время пошло. Эх. Все пассажиры встали, аккуратно сложили свои вещи, выбросили бутылки и убыли кто куда. Так и С. с Ф., одумавшись. Вся иллюзия чего-то совершенно абсурдного спала. Действительно — всё как обычно. Наверное, показалось. Ф. помог С. собрать карандаши, они тепло попрощались и вроде бы что-то хотели сказать друг другу, но каждый нашел свое слово либо слишком неловким, либо совсем уж неуместным. Так что они еще раз пожали руки и слишком просто разошлись каждый в свое право. «Вопрос о жизни — это вопрос абсолютного присутствия», — сказала С., в последнюю секунду оглянувшись на всё прошедшее. И дальше гордо пошла в свое право, хотя это было лево.



МАРИЯ СТЕПКИНА



ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ



Мария Стёпкина

20 лет, Вильнюс

lpchoppl@gmail.com

+375293267178 (telegram), +375257867137

Пятьдесят шесть

«Эта дорога так надоела, что хоть бери и асфальт меняй», — недовольно бормотала Марта по понедельникам сама себе, продираясь своим рутинным путем на работу, а затем обратно домой.

«Или ходи зигзагами», — думала она по средам, но так ни разу и не отважилась, потому что очень боялась помешать другим прохожим ходить привычным им способом. То есть без зигзагов.

«А может, нарисовать классики и прыгать?» — размышляла она по пятницам, но к концу недели обычно была слишком уставшей, чтобы воплотить эту идею в жизнь. Сначала устать, а потом встать — так обычно происходит по пятничным утрам. И никак иначе.

В общем, Марта находила эту дорогу до одурения скучной. И она в самом деле была такой, пока в один из дней на бордюре возле дырявой мусорки с наклейкой русалки, которую Марта изучила вдоль и поперек, не появились таинственные цифры. Пятьдесят шесть.

Разумеется, Марта решила, что это послание — для нее. «С чего это она так решила?» — спросите вы. А с того, что любой человек, с минуты на минуту ожидающий хоть чего-то из ряда вон выходящего в своей жизни, рассудил бы именно так. И Марта была точно таким человеком.

Конечно же, она была достаточно наивной, чтобы поверить, что этот знак на асфальте — исключительно для нее, но не настолько наивной, чтобы поверить, что он означает что-то хорошее.

Поэтому сперва Марта насторожилась. На целую неделю она и думать забыла о зигзагах и классиках — вместо этого она напряженно перебирала в памяти всех своих знакомых, у которых она могла одолжить пятьдесят шесть евро. Ни много ни мало. Можно и платье купить, и в Амман слетать. Вовсе не удивительно, что кто-то хочет заполучить эти деньжищи обратно. Было ясно как день: кто-то очень тактичный пытается намекнуть Марте на ее долги. Но как Марта ни старалась припомнить, тактичных среди ее знакомых не оказалось, поэтому в пятницу вечером она принялась названивать всем подряд из своей телефонной книжки. Разумеется, сперва нужно спрашивать, как дела, как коты, собаки, дети, магазинные огурцы, новый порошок в капсулах, поездка на море — не

жалая оставшихся пятничных сил, Марта неохотно выуживала из собеседников все эти подробности и лишь затем переходила к сути. Когда выяснилось, что пятьдесят шесть евро она никому не должна, Марта сильно огорчилась. Ведь это значило, что в очередной раз все ее надежды на неожиданное и загадочное происшествие в собственной жизни пошли прахом. И совсем неважно, что Марта сама всё выдумала. У Марты было целых два дня, чтобы смириться с этим и вступить в новый понедельник с новыми надеждами и чаяниями. В этот раз она решила: «Должно быть, это какая-то головоломка. Если я разгадаю ее, то наверняка меня ждет какой-нибудь умопомрачительный приз в конце». Первое, что пришло Марте в голову, — это сделать пятьдесят шесть шагов. Она отмерила пятьдесят шесть шагов в сторону — и уперлась в дерево. Древнее, величественное, а на коре коряво выцарапано не менее древнее и величественное слово «дура». Марта сразу же поняла, что это просто какое-то нелепое совпадение и что, должно быть, пятьдесят шесть шагов нужно было мерить в другом направлении. Она повертелась-покрутилась, но так и не нашла ни одной зацепки. На работу в тот день она опоздала.

Через пару дней, как раз ближе к выходным, до Марты дошло, что это очень заковыристая головоломка. Но также она прекрасно понимала, что оттого лишь будет удивительнее приз. На следующий день Марта пошла в дом номер пятьдесят шесть на этой улице и постучала в квартиру номер пятьдесят шесть. Это было двойное попадание, которое не могло окончиться ничем иным, как победой. Дверь очень долго не открывали. Марта подумала, что это добрый знак. Видимо, в этот раз она пришла по адресу, а кто-то там за дверью, весь такой таинственный, просто интригует. Когда дверь всё-таки отворилась, в дверном проеме повисла лысеющая голова восьмидесятилетнего старика. По его замутненному и рассеянному взгляду Марта догадалась, что сюрпризов тут нет. Давно не было.

Кислотно-оранжевый бессмысленный след на асфальте — это так похоже на дело рук обычного человека, но после двух неудавшихся попыток следовать этой теории Марта окончательно убедилась в том, что это — знак свыше, некое знание, недоступное простым смертным. Значит, и оставить этот след простой смертный тоже не мог. Было решено: пятьдесят шесть — это количество лет, которые Марте предначертано прожить. Ни много ни мало. Можно отправиться в Амман, а потом еще и еще куда-нибудь, а можно ходить одной и той же нудной дорогой, меняя платья хоть каждый день. И чтобы знать наверняка, сколько лет у нее есть либо на первое, либо на второе, Марта пошла сначала к врачу, а затем — к гадалке. Врач, как это обычно водится, не сказал

ничего путного, но зато гадалка опровергла все Мартыны опасения и пред-
рекла ей долгую-долгую жизнь, до деменции, до помутнения рассудка, до
такого состояния, когда ты не в силах самостоятельно держать ложечку с
кашей. Когда Марта вышла от гадалки, она не могла понять: всё-таки рада
она или огорчена?

Целые три недели эти цифры захватывали ум и воображение Марты. А
потом пришли рабочие, вспороли брюхо асфальта и начали прокладывать
трубу номер пятьдесят шесть, так необходимую для городского водоснаб-
жения. Дорогу перекрыли, и Марте пришлось искать новый путь.





НАТАЛЬЯ ЖУКОВСКАЯ



БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК



Наталья Жуковская

20 лет, Вильнюс
zhukouskayaabsurd@gmail.com
+37060236852

Большой человек (История)

В душной комнате не было места для порядка. Его даже не хватало для людей, которые жили в ней. На стенах висели картины каких-то неизвестных художников. Ну, как картины... Это были распечатки, сделанные на обычном принтере. И эти картины служили лишь каким-никаким, но декором. На полке выше кровати стояли запылившиеся бокалы. Один из них был разбит: когда-то случайно выпал из рук за очередным приемом вина. Но, как ни странно, Серафима пользовалась им больше всего. Нельзя сказать, что она имела пристрастие к алкоголю. Скорее, это была привычка. Как кофе по утрам. Только у нее это не было чем-то формальным. Серафима в принципе не любила формальность. Она считала, что любая эмоция, которая не выражает истинных чувств по своей сути, — пуста. Также она никогда не подстраивалась. Я до сих пор не понимаю, как в наше время можно обойтись без этого. Нет, на самом деле можно. Конечно, если ты не планируешь обрести полезные связи и построить успешную карьеру.

Может быть, именно поэтому она до сих пор снимает комнату вместе со своей давней студенческой подругой.

Это было очередное утро, такое же непримечательное, как и все остальные. Серафима сидела на кровати, закрыв лицо руками. Этой ночью она опять заснула только под утро. Хотя это был ее единственный выходной. На часах 8:14 утра. Серафима делает последний решительный тяжелый выдох и встает с кровати. Она ненавидела готовить. Но кто, если не она? Яичница из двух яиц и черный чай с сахаром. Советский завтрак. Рука так и тянется к хлебу, но тут же останавливается на полпути. Она пообещала, что в ее рационе больше не будет мучного. У нее не было проблем с фигурой или чего-то подобного. У нее просто бывают такие дни, когда ей кажется, что если она в чем-то ограничит себя, то ее жизнь вскоре изменится. Ее голова была забита тем, что платить за комнату нужно уже на следующей неделе, а финансы позволяют оплатить от силы полкилограмма картошки, так как в последнее время портреты у нее стали заказывать всё реже. Она была прекрасным художником, но жизнь заставила ее стать фрилансером, который изображает на бумаге формата А4 портреты незнакомых ей людей. Она не вкладывала в эти изображения душу,

потому что знала, что этот портрет будет подарен какой-нибудь кухне на день рождения, где он в лучшем случае будет благополучно висеть на какой-нибудь стене с фотообоями, рядом с натюрмортом, который им, скорее всего, подарил какой-то старый знакомый еще 20 лет назад.

Во время раздумий она не заметила, что желток от яйца пролился на ее письмо, которое она не закончила вечером. Письмо на одну страницу. Письмо ее отцу, который отбывает наказание в тюрьме. Отцу, который бросил ее и мать, когда ей было семнадцать лет. Отцу, который, находясь в нетрезвом рассудке, изнасиловал мальчика семи лет — он задержался после школы, торопясь домой в надежде, что его не будут ругать родители за столь поздний приход. Но он так и не вернулся. Его нашли в районе четырех утра. Мертвым, с многочисленными травмами и сломанным позвоночником.

Отцу дали семнадцать лет. Семь из них он уже отсидел. Серафима до сих пор жалеет, что в стране, где она жила, нет высшей меры наказания. На верхней полке хранилось порядка пятнадцати писем, которые он присылал ей с периодичностью в несколько раз за год. Она не решалась читать их. Но и выбрасывать также не осмелилась. Но вчерашний вечер, который она провела одна с дешевым сухим вином в разбитом бокале, сделал свое дело. Она прочитала всё. Читала и искренне смеялась над седьмым по счету письмом, где он клялся, что, когда он выйдет на свободу, они, как и тогда, когда ей было двенадцать лет, устроят пикник за домом и будут играть в бадминтон. Смеялась над извинениями, смеялась над просьбами простить.

Он никак не мог узнать, что она уже пять лет, как живет в другой стране. Ведь там, где она жила, ее бесчисленное количество раз поджидали возле дома, где она осталась жить с мамой.

Город был маленьким, оттого и люди более злопамятны. А у матери через два месяца оторвался тромб. Как это обычно бывает, совершенно обыденно. Сидя в кресле. За просмотром какого-то очередного фильма о дикой природе.

Она решила ответить.

«Дорогой Виталий Олегович!

Я прочла всё, что вы мне присылали. Я даже перечитывала. Не могу не отметить, что ваше чувство юмора осталось с вами даже в местах не столь отдаленных. Мне искренне жаль, что я не прочла ваши письма раньше. Я скорее жду момента, когда вы наконец-то выйдете на свободу и мы, как обычно, с вами выйдем за наш сорок седьмой дом, сядем на лужайке, мама завернет нам бутерброды с сыром и помидорами, и мы, как всегда, сыграем несколько партий в бадминтон.

Поступок, который вы совершили, не сыграл никакой роли в наших с

вами взаимоотношениях. Я уверена, что этот мальчик сам виноват. Ну, зачем так поздно возвращаться домой? Почему родители не соизволили встретить его в столь поздний час?

Не вините себя. Вы — человек. А человек, как известно, имеет право ошибаться :)»

Так как это письмо было почти закончено и далось ей очень тяжело, она понимала, что его нужно переписать, чего очень не хотелось, учитывая, сколько сигарет она скурила вчера и что она вообще не курит. От бессилия у нее потекли слезы. Она бросила тарелку с незаконченным завтраком на пол. Осколки разлетелись по всей комнате. У Серафимы был очень чувствительный слух, и она поспешила закрыть уши и зажмурить глаза. Ее ладони приблизились к лицу, которое выражало лишь отчаяние, она случайно задела настольную лампу, которая держалась на честном слове. Лампа упала и лампочку, которая еще вчера обещала перегореть, перемкнуло, и она начала издавать неприятный треск. Серафима даже не думала вставать и убирать. Разочарование на ее лице сменило совершенно нейтральное выражение, которое присуще вахтерам или гардеробщикам. Слеза покатилась по ее щеке, но она резким движением ладони смахнула ее. Хотя скрыться хотелось в тот момент только от себя. Она попыталась сфокусировать свой взгляд на своих записях, но так и не решилась. Она перевела его на идеально ровную стену. Ее взгляд остановился. Она смотрела не моргая. Один бог знает, о чем она думала тогда. Так продлилось достаточно долго...

Время близилось к вечеру. Соседка по комнате возвращается обычно к двадцати двум часам вечера, хотя рабочий день заканчивается раньше. От офиса до дома где-то двадцать минут пешком. Удачное расположение. Вот на что смотришь в первую очередь, когда пытаешься сэкономить на всем. Наверное, после работы она неспешно прощается с коллегами, среди которых есть один товарищ, в которого она влюблена чуть ли не с начала своей карьеры в фирме, и возможно это взаимно. Но служебные романы в данной организации запрещены. А последнее, чего бы она хотела, — это остаться без работы из-за какого-то мужика! Уж лучше восхищаться на расстоянии. Попрощавшись, она выйдет с ним из здания, он, как обычно, предложит подвезти ее, и она, как обычно, откажется, сославшись на срочные дела дома или на то, что ее подруга вот-вот должна встретить. Банальная отмазка, зато всегда работает. Дальше она пойдет в продуктовый магазин и подумает, что приготовить на ужин, решит, что даже Гордон Рамзи не сможет вдохновить ее стоять у плиты больше двадцати минут. Она купит макароны и томатную пасту. Бюджетно и вкусно. Тем более, макароны с томатной пастой — это любимое блюдо Серафимы. Они с ней иногда смеются, что Сима может съесть даже камень, если он

будет с томатами! Затем она направится домой. Поднимется на седьмой этаж и, как обычно, мысленно будет возмущаться, что не спорила с Симой, когда они выбирали квартиру, ведь она принципиально настаивала, что жить хочет только на седьмом этаже. Хотя в этом доме были варианты и пониже! Не пришлось бы так издеваться над своими ногами, учитывая, что лифт не работает уже третий день. Вот, за что она не любит жить на верхних этажах.

Потом она откроет дверь, зайдет и только с порога начнет рассказывать, как этот парень опять пытался подвезти ее до дома. Но не успеет. Ее взгляд остановится на яичнице вперемешку с фарфором, ну, естественно, искусственным. Уже даже и не вспомнишь, откуда у них такая посуда, далее ее зацепит Серафима, лежащая на столе, словно спящий студент на паре. Сначала она подумает, что она заснула, поспешит разбудить ее и спросить, всё ли в порядке, и только через несколько мгновений поймет, в чем дело.

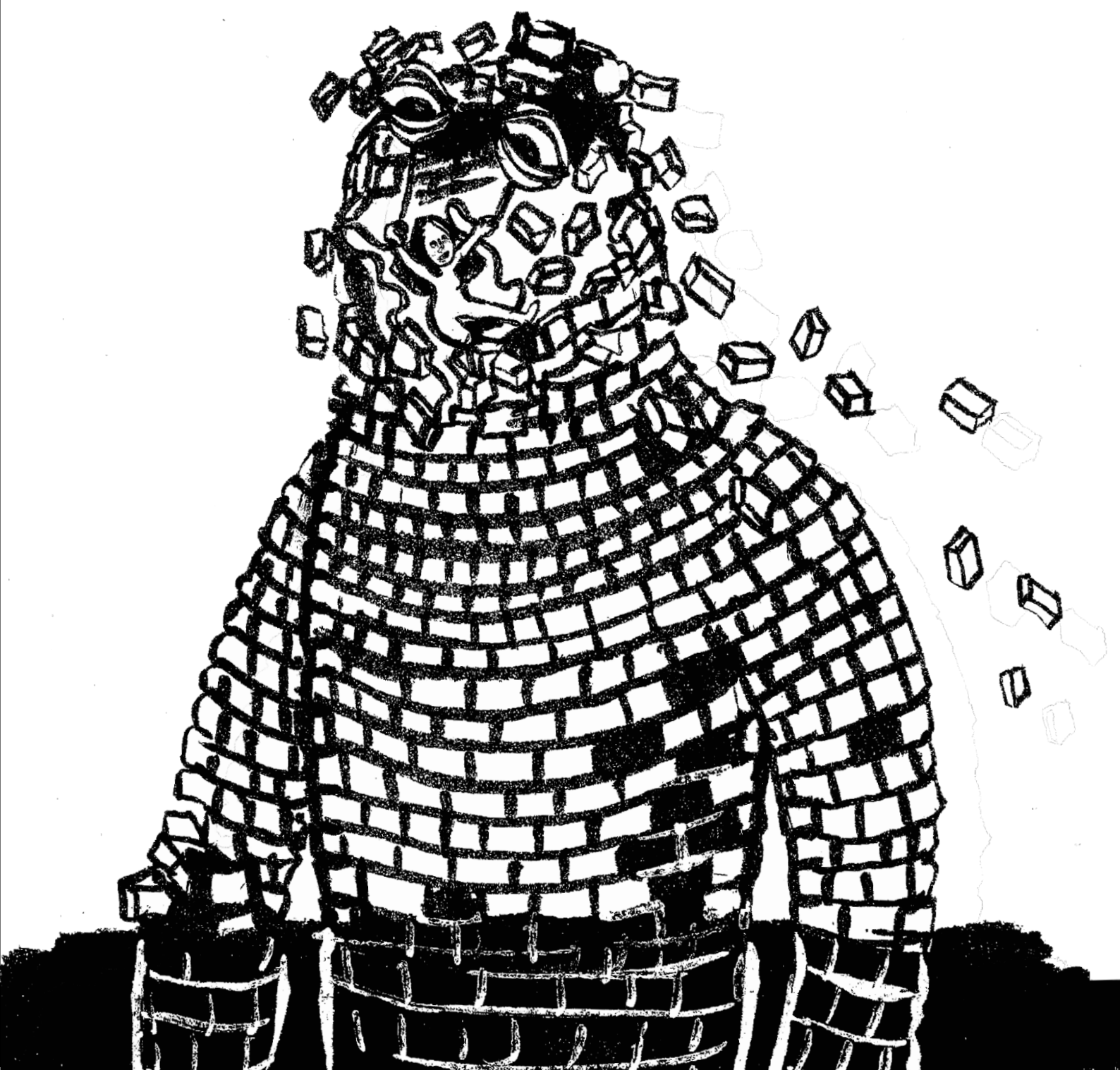
Серафима умерла в двадцать часов четырнадцать минут. Остановка сердца. Сима, в принципе, никогда не отличалась здоровым сердцем. Хотя в детстве обожала спорт даже больше, чем томаты! Могла часами играть в бадминтон.

Опять врачи обманули. Говорили, что спортивные игры — лучшая профилактика сердечных заболеваний. Да и образ жизни у нее был вполне удовлетворительным — Серафима старалась пить много воды, ограничивала себя в сладком и мучном. Даже кофе, который в наших реалиях так необходим среднестатистическому человеку, она пила две или три недели назад. Сима пила только приторно-сладкий черный чай по утрам! «Чай, кстати, так и остался стоять на столе. Она никогда не допивала его, а половину кружки оставляла на столе. Вполне обыденно. Впрочем, как и вполне обыденная смерть».

ЯНІНА РАВЯКА



ПРАЦА РАЗБУРАЦЬ



Яніна Равяка

18 гадоў, Вільня
yaninaraviako@gmail.com
+375292766892

Праца разбураць

Дэга працаваў машыністам. Дэга марыў працаваць машыністам яшчэ тады, калі быў маленькім Эдгарам — хлопчыкам, зь імя якога ўсе любілі пасьмяяцца. Дэга крыўдзіўся, але яму не хапала смеласьці абараніцца ў адказ.

Кожнае лета Дэга разам са сваёй бабуляй езьдзіў на цягніку на мора. Кожнае лета, стоячы на вакзале перад адпраўленьнем, Дэга вельмі хацеў убачыць машыністаў. Ён хацеў убачыць тых, хто стварае. Стварае крохкае жыццё, што доўжылася 22 гадзіны 2 хвіліны, 1281 кілямэтр і пачак цыгарэт, які за гэты час пасьпявала выпаліць бабуля. Дэга марыў ствараць. Напэўна таму, калі ён вырас, Дэга пачаў разбураць.

Стаць машыністам цягніка неяк ня склалася і дзіцячая мара разьбілася аб суворыя абставіны дарослага жыцця. Зараз ужо складана сказаць, у які момант плян перастаў выконвацца. Галоўным быў вынік. Дэга стаў працаваць мышыністам экскаватара.

Але тут таксама ствараць не атрымалася. Зноў перашкодзілі абставіны. Дэга стаў працаваць машыністам экскаватра, што зносіў дамы.

У гэтым горадзе чартоўскі шмат зносілі і чартоўскі шмат будавалі. Тут чартоўскі небасьпечна было прывязвацца хоць да чаго-небудзь. Яна ведала гэта, вельмі добра ведала, і кожны раз абяцала сабе не пачынаць думаць занадта шмат пра адных і тых жа людзей або пра адныя і тыя ж месцы. Але так не атрымоўвалася. І яна ведала, вельмі добра ведала, што ніколі не атрымаецца.

Хадзіць самай кароткай дарогай ад мэтро да дому не заўсёды хацелася. Гэты шлях быў вывучына на памяць і нічога з сябе не ўяўляў. Ён быў жаўтаватага колеру плота вакол тралейбуснага парку з шэраватым адценьнем шчылін на асфальце. Часам прыемна было знайсці некалькі хвілінаў свайго часу, каб прайсьціся крыху больш і забыцца на правілы жыцця без прывязанасьцяў.

Яна не даканца разумела, чым менавіта чаплялі гэтыя тры дамы. Яны былі

шэрыя, як і ўсё вакол, дрэвы былі самага звычайнага колеру, а адрас напісаны вялікімі непрыгожымі літарамі, якія відавочна ўсё псавалі. Так, там былі эркеры, якія, здаецца, былі нечым цікавым, але яны былі адзіным, што магло прыцягнуць увагу.

Але яе ўвага прыцягвалася. Прыцягвалася настолькі, што яна заходзіла ў двор, глядзела на драўляныя гаражы побач, якія кантраставалі са шкляным шматпавярховікам удалечыні. Глядзела на заўсёды адчыненыя дзвярэы ў таемную цемру пад'ездаў, на недагледжаныя клюмбы пад вокнамі і на дзіцячую пляцоўку з мэталічнымі арэямі. Гэта быў сьвет са шматлікімі праблемамі ў выглядзе адсутнасьці ацяпленьня і разьвітай інфраструктуры побач, але з прысутнасьцю скразьнякоў і сталага алкагольнага паху ў паветры. Хто ведае, магчыма, і самі жыхары марылі адсюль зьехаць, а ўся рамантыка разьбівалася пасьля некалькіх дзён, праведзеных тут. Магчыма, уся рамантыка была толькі для мінакоў. Так ці інакш, некалькі хвілінаў у яе знаходзіліся часта, нашмат часьцей, чым належыць чалавеку без прывязанасьцяў.

Разбураць стала Дэгавай працай. Калі нешта становіцца працай, стаўленьне мяняецца. Гэта больш не выклікае пачуцьцяў. Чалавек, перакананы ў існаваньні душы, сказаў бы, што яна чарсьцьвее. Але душа — сумнеўны панятак. Калі б яна была, людзі даўно б перасталі разбураць.

На кожнае новае заданьне Дэга ехаў з абыхавам выглядам. Яго не асабліва краналі эркеры, драўляныя гаражы на фоне шклянога шматпавярховіка або мэталічныя арэлі. Сёньня была ягоная зьмена разбураць, і ён больш думаў пра заўтрашні выхадны, чым пра забытыя фіранкі на вокнах. Першы ўдар даваўся складана, бо трэба было разьлічыць дакладную сілу і месца. Але Дэга добра ведаў сваю справу. Ён умеў разбураць, нягледзячы на тое што калісьці марыў ствараць.

Далей усё ішло па дакладна распрацаваным за гады працы пляне. Сьцяна за сьцяной, пад'езд за пад'ездам. Вось ужо і няма эркера, замест яго дом агаліе тое, што звычайна хавалася ад непатрэбных позіркаў. Тут гатавалі сьняданкі, адкрывалі віно, кахаліся, а потым разыходзіліся назаўсёды. Тут стаяў ложак, а вакол яго разэтка, якую так і не адрамантавалі. Тут стаялі кнігі. А вось тут заўсёды ляжаў пыл, бо швабра не даставала да гэтага кута.

Зараз пыл стаіць ад чарговага кавалку сьцяны, які падае на зямлю. Пыл часам дапамагае пазбавіцца ад пачуцьцяў, бо за ім нічога ня бачна. Але пачуцьцяў у Дэгі не засталася, таму пыл толькі перашкаджаў, бо кожны раз трэба было чакаць, пакуль ён асядзе і можна будзе разьлічваць месца для наступнага ўдару.

Яна не засьпела само разбурэньне. Яна прыехала, калі ўсё ўжо разбурылі. Яна ўбачыла толькі брудна-карычневы пясок пустэльні, выкарчаваныя дрэвы і экскаватар з апушчаным каўшом, які чамусьці яшчэ ня зьехаў. Напэўна, так было лягчэй. Напэўна, так разбурэньне выклікае менш непатрэбных сэнтымэнтальных пачуцьцяў. Напэўна, так можна сябе пераканаць, што разбурэньне — першы крок да стварэньня.

Але яна ня здолела сябе ні ў чым пераканаць. У гэтым горадзе развучыліся ствараць. Тут умеюць толькі разбураць, а на месцы разбурэньняў будаваць бясформенныя канструкцыі.

Яна неяк злавіла сябе на думцы, што перастала любіць гэты горад. Яна доўга не магла адшукаць прычыну. Здаецца, прычына знайшлася.

У апошні дзень працы на чарговым участку Дэга затрымаўся. У экскаватары нешта забарахліла, ён даўно казаў пра гэта мэханікам, але ніхто яго не паслухаў. Вось зараз і трэба неяк выкручвацца самому.

Дэга сьпяшаўся. Дэгу трэба было хутчэй адрамантаваць экскаватар і зьехаць дадому. У Дэгі не атрымалася адрамантаваць экскаватар. Дэга стаў чакаць мэханіка, які ўрэшце згадзіўся да яго заскочыць.

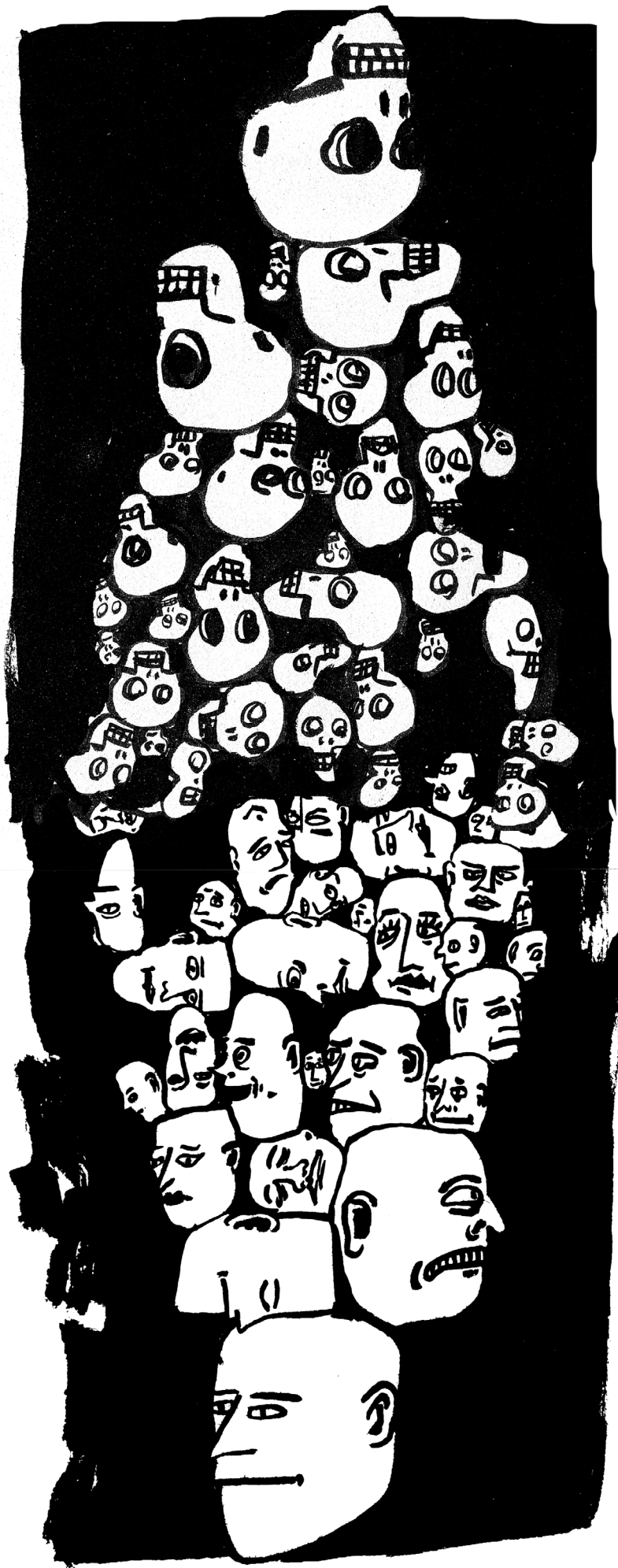
Чаканьне праходзіла пад мэлёдыі з радыё, што атручваюць сваімі бітамі і падвываньнямі там, дзе не хапіла словаў, і разгортвалася на фоне пустэльні за вакном. Дэгу больш нічога не кранала. Дэга больш не хацеў ствараць. Дэга хацеў дачакацца мэханіка і зьехаць дадому, не забіваючы галаву думкамі пра нязьдзейсьненыя мары і разбурэньне, якое стала ягонай працай.



ЕКАТЕРИНА ЕРКОВИЧ



НЕОТПРАВЛЕННОЕ



Екатерина Еркович

20 лет, Минск
ikatsyarin@gmail.com
+375259301268

Неотправленное

И если каждому воздастся по вере его я сожалею, что не уверовала в нас.

Эта драма придется мне к лицу. Может быть, даже начну курить или посвящу тебе прозу. Тебе всегда так нравилось, как я пишу. Может быть, даже прочтешь до конца.

Я же заложница всех этих текстов. Мне не пишется, когда живется счастливо. О, как мне по душе упаковывать человеческие страдания в формат docx.

Ты тоже можешь рассказать про свой очередной ***** роман из Минска. Что же тебе так не везет на красавиц из этого города? Но ты предпочел жестокость и не скажешь больше ничего. Твое молчание есть мой самый страшный суд.

Мне легче поверить, что у тебя закончился безлимитный интернет, чем в то, что всё закончится так. И я оправдывала тебя до собственной глупости, пока ты не запостил какое-то селфи. Стало ясно — даже не мертв. Даже не пытался сделать вид. А я ведь хотела повесить твой постер над кроватью. Оправдания кончились.

И ради чего теперь моя гладкая кожа? И ради кого три подхода на пресс вместо завтрака?

Я подумываю принять человеческий аскетизм. Но как быть со стихотворениями Бродского, твоими письмами и моей верой? Ты обещал быть рядом в полнолуние, но это необязательно. Даже ретроградный Меркурий меня не убьет.

Самое страшное, если бы ты сейчас же написал мне любую ересь, я бы тут же приняла это за истину.

Ибо я не верую в нас, но верю в тебя.

* * *

И спустя полугодие я очищаю историю браузера — пускай хотя бы он тебя не запомнит.



ОБ ЭТОМ ИЗДАНИИ

В сборнике представлены дебютные тексты 12 авторов, которые стали участниками мастерской креативного письма Летней школы ЕГУ Виктора Мартиновича и Ксении Шталенковой, прошедшей 1–12 июля 2019 года.

ISBN 978-609-8220-10-0 (PDF)

Оригинальная ссылка на электронное издание сборника: <https://ru.ehu.lt/publications/12-sbornik-korotkoy-prozyi/>

Все права на тексты, опубликованные в этом сборнике, принадлежат их авторам. Права на дизайн сборника и иллюстрации принадлежат Веронике Калдаевой. Копирование, распространение и воспроизведение материалов этого сборника или его частей может быть осуществлено исключительно в некоммерческих целях и с использованием неизмененных копий этого сборника без производных, сделанных на основе материалов этого сборника (Лицензия No Derivative Works). Ссылка на Европейский гуманитарный университет, а также на авторов, чьи произведения опубликованы в этом сборнике, обязательна.



ДВЕНАДЦАТЬ





Европейский гуманитарный
университет

2019